



Михаля
Элькина

Дом

Михаля Элькина

Дом

«Издательские решения»

Элькина М.

Дом / М. Элькина — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-501902-8

Действие романа разворачивается в 70-80-е годы, в провинциальном городке Советского Союза. Девочка Саша растет и взрослеет в обыкновенной советской семье, окруженная заботой и любовью. Ее детство не отличается от детства ее ровесников. Разнообразные события школьных лет Саши, включая самые трагические, все же не кажутся необъяснимыми, они вписываются в общую картину времени. И только повзрослев, Саша начинает догадываться, что дом ее детства скрывает некую тайну, которую ей предстоит разгадать.

ISBN 978-5-00-501902-8

© Элькина М.
© Издательские решения

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Часть 1. | 6 |
| Костя | 6 |
| Глава 1 | 13 |
| Глава 2 | 20 |
| Глава 3 | 26 |
| Глава 4 | 33 |
| Глава 5 | 38 |
| Глава 6 | 42 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 51 |

Дом

Михаля Элькина

Редактор Марина Тюлькина

Корректор Светлана Иванова

Корректор Ольга Рыбина

Иллюстратор Марина Шатуленко

© Михаля Элькина, 2019

© Марина Шатуленко, иллюстрации, 2019

ISBN 978-5-0050-1902-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Моему так рано ушедшему отцу посвящается

Часть 1. Подвал

Костя

Костя понимал, что еще несколько дней и о побеге не будет и речи. Городок уже обносили колючей проволокой, строили сторожевые вышки и пропускные пункты. Начали распахивать по периметру контрольно-следовые полосы. В наспех построенный барак заселили взвод солдат.

Сами ученые жили в давно пустующем монастыре. Размещались по одному, по двое; Костя занимал просторную келью, наслаждаясь одиночеством впервые после интерната и студенческой общаги. Удобства, правда, были на улице, но посреди теплого лета это не являлось серьезной помехой. Тем временем в городке уже шло строительство современного жилья, и к зиме их должны были расселить по квартирам.

Его ждала комфортная, обеспеченная жизнь в позолоченной клетке и возможность заниматься любимым делом на таком передовом уровне, о каком он раньше и не мечтал. Минутная слабость овладела им: плюнуть на идиотские юношеские клятвы и остаться здесь, продолжить работу среди величайших умов Советского Союза – нет, мира! – и не идти на безумный, смертельный риск.

Костя усмехнулся: решение давно принято, и обратного пути нет. Месяцами он готовился к этому дню, выносил из лаборатории драгоценное вещество по 25—50 граммов, и потрепанный портфель научного сотрудника теперь лежал наготове внутри огромного старинного сундука, в котором также хранились его вещи, и который, помимо кровати, являлся единственным предметом мебели в аскетичной монастырской келье.

Светало уже в этот ранний час июльского дня. Кроме чириканья птиц не было слышно ни звука. Прохладная роса выступила на подоконнике. Лето стояло жаркое, и он знал, что к десяти утра в комнату с единственным крошечным оконцем уже опустится душный, неподвижный воздух. Вчера, субботним вечером, народ долго гулял и много пил, значит, сейчас все крепко спят. Собственно, каждый конец недели венчался вот такой вселенской пьянкой, но к следующему воскресенью, когда опять сложится обстановка, благоприятная для исчезновения, похоже, городок будет взят под войсковую охрану окончательно и бесповоротно. Значит, уходить сегодня.

Костя натянул штаны, рубаху, пиджак, плеснул на лицо водой из тазика. Взял портфель и спустился вниз, стараясь не скрипеть старыми половицами. Из антресоли с комнатухами лестница вела в столовую. На огромном деревянном столе свидетельством вчерашнего пиршества грудились невымытые тарелки, кругом валялись пустые бутылки и стаканы. Он с досадой обнаружил здесь одного из сотоварищей. Тот, видимо, не покидал столовой – как уснул посреди пьянки, так и сидел на скамье, склонившись вперед и прижавшись щекой к столешнице. Костя бесшумно проскользнул мимо и краем глаза увидел, как тот поднял голову, обвел помещение бессмысленным взглядом и со стуком уронил голову обратно. Сердце заколотилось было, но Костя усилием воли подавил тревогу: сотоварищ, растолкай его сейчас, не вспомнит и своего имени, не то что прошуршавшую мимо тень.

Он оправился в дощатом нужнике и зашагал пружинистой веселой походкой, насвистывая и помахивая портфелем. «Ты куда?» – спросит его маловероятный встречный прохожий. «Да вот, в лесок тут, неподалеку», – ответит он беспечно. «А портфель на что?» – удивится

встречный. «А хочу полежать среди деревьев, бумаги полистать... Больно уж хорошо думается на природе воскресным утром». – «А-а, ну давай, энтузиаст, думай».

Но никто не встретился ему на пути, и Костя вскоре добрался до леса. Идти стало сложнее: деревья росли густо, между близко стоящими стволами вскипали толстые извилистые корни. Город, окруженный таким лесом, пожалуй, и не нуждается в дополнительной охране, подумал Костя. Шаг его замедлился, и казавшийся поначалу легким портфель начинал все больше тянуть руку. Он закидывал его за плечо, и перекладывал в другую руку, и даже пытался пристроить на голове, как африканская женщина, несущая кувшин воды. Как всегда в тяжелых обстоятельствах, будь то трудности физического или эмоционального характера, он привычно заставил свой мозг отстраниться от переживаний тела – и души – и как будто наблюдал за собой, пробирающимся сквозь чашу, со стороны.

Прошло часа два, прежде чем он выбрался из леса на проезжую полосу. Солнце уже начало припекать, и теперь, когда его больше не защищали своды деревьев, Костя почувствовал, как быстро спина покрылась бисером пота и еще больше отяжелел портфель. Вдруг позади закрипели шины замедляющегося автомобиля, и Костя с трудом преодолел нерациональное желание метнуться зайцем в кусты, спрятаться.

– Браток, подвезти? – спросил шофер в солдатской форме, приоткрыв дверь кабины газика.

Костя замешкался, не уверенный, какой ответ покажется менее подозрительным.

– Спасибо... не надо, я сам дойду.

– Да брось, – возразил солдат, – ты ж, поди, на станцию шагаешь?

– Да-а...

– Ну еще пару часов тебе шагать. Садись, с ветерком за десять минут доведу.

Костя влез на пассажирское сиденье, и машина рванула с места и впрямь с ветерком, как было обещано: портфель слетел с колен Кости и с громким стуком упал под ноги.

– Ого, ты чего, консервными банками запасся? – удивился шофер.

– Ну, – неопределенно промычал Костя.

– Ты откуда идешь?

Костя назвал деревушку, которая находилась по соседству с их поселением.

– Ты че, деревенский? – удивился шофер.

– Да нет, тетку навещал, – ответил Костя.

По счастью, парень, похоже, не имел обыкновения подолгу задерживаться на одной мысли.

– Слушай, а правда, что тут неподалеку, в монастыре, какой-то секретный объект строят?

– Люди говорят... А кто ж знает, что там в самом деле?

– Знаешь, что наши в части шепчут? Только ты не болтай, а то мне секир башка будет.

– Что? – с тревогой спросил Костя.

– Будто строят лагерь для немецких военнопленных генералов, будут их держать в строгой секретности, но в нормальных условиях. Я вот думаю, может, даже Гитлера сюда приволокут, падлу?

– Навряд ли, – усомнился Костя. – Да и Гитлер же застрелился.

– И ты в это веришь? – усмехнулся шофер. – Труп его никто не видал! Где же вещдок?

– Ну, может, насчет лагеря ты прав, – уступил Костя. – Но Гитлер – это ты загнул...

Но шофер уже потерял интерес и к этому разговору и стал рассказывать, как он успел повоевать пару лет и как служит теперь сверхсрочником водилой, а когда демобилизуется, поедет домой, в Куйбышев...

– Я же здешний, можно сказать, – поделился он.

– Как же здешний? Ты же сказал, Куйбышев?

– Все мы, волжские, – земли, – пояснил солдат.

Дорога влилась в более широкую, и показалась автобусная станция.

– Ну бывай, – он открыл дверь газика, выпуская Костю. – Куда теперь?

– Я? В Саранск еду, – ответил Костя, назвав город в противоположном направлении от намеченного пути. – Спасибо тебе, друг.

Он выскочил из машины и поспешил на станцию.

Повезло: рейсовый автобус уходил вот-вот, а следующий – только через три часа. Костя купил билет у строгой кассирши, которая не подняла на него глаз.

Воскресный день был уже в полном разгаре, на станции толпился однообразный люд: мужчины испитого вида, угрюмые оплывшие женщины неопределенного возраста. Иные казались совсем старыми и вдруг держали за руки сопливых ребятишек, которые ныли и причитали, величая старух маманями. Народ хаотически передвигался по станции, толпы то редели, когда отбывал очередной автобус, то снова наплывали в ожидании следующего. Костя нетерпеливо переминался с ноги на ногу: хотелось уже сесть в автобус, лишь бы не стоять среди этих людей, ловя на себе недоброжелательные взгляды. Ему казалось, что он сильно отличается от окружающих в своем поношенном и все же добротном пиджаке, но главное – с этим портфелем, типичным где-нибудь в московском метро, но не здесь, в российской глубинке, где народ носит скудные пожитки в корзинах и узлах. Впрочем, он заставил себя успокоиться, присмотревшись и сделав вывод, что угрюмые взгляды исподлобья направлены не на него и являются здесь нормой, а не исключением. Мимо прошел милиционер и тоже не обратил на него внимания, приглядываясь скорее к группе подростков, которые толклись у билетной кассы. Потом на низенькой тележке проехал инвалид, позвякивая медалями и протягивая руку за милостыней. Костя отвернулся: с детства не мог переносить вида безногих, чувство сострадания терялось за физическим ужасом и брезгливостью. Ветеран сплюнул ему под ноги.

Наконец, начали пускать в автобус. Костя уселся на самое дальнее сиденье и притворился спящим. Вскоре он и в самом деле уснул, обеими руками стиснув портфель у груди.

Через два часа ухабистого пути, прерываемого многочисленными остановками, автобус прибыл в Горький. Автобусная станция соседствовала с железнодорожной, и Костя направился туда. Все шло по плану, даже с опережением, благодаря добросердечному солдатику-сверхсрочнику. Теперь надо было разобраться, каким образом пересечь страну и доехать до Владивостока; если для этого потребуется пересаживаться с поезда на поезд – оно и к лучшему, он затеряется, запутает следы, ведь не далее как завтра его хватятся и объявят в розыск.

Костя походил по вокзалу, постоял у информационного табло, пытаясь мысленно прочертить возможные варианты пути через огромную страну. Ему предстояло добираться до цели как минимум две недели, а то и дольше. Когда-то эта дорога уже была им преодолена при совсем иных обстоятельствах: мальчишкой-выпускником он ехал в Москву поступать в институт. Он и тогда был налегке, с небольшим фанерным чемоданчиком, в котором хранились смена белья, несколько книг и рекомендательное письмо от директора интерната. Все же теперь, экипированный лишь портфелем, он вовсе не походил на человека, который пустился в дальний путь, и это являлось дополнительной причиной не пытаться сейчас найти билет на поезд, который доставит его как можно ближе к намеченной точке, а разбить путешествие на этапы и ехать под видом командированного.

Глядя на расписание поездов, Костя принял решение: он купит билет на проходящий Москва – Пермь. Этот поезд покидал Москву утром, останавливался в Горьком в семь и к вечеру следующего дня прибывал в Пермь. Он возьмет билет в плацкартный вагон, галантно уступит нижнюю полку какой-нибудь женщине с ребенком и, забравшись наверх, «проспит» там всю дорогу.

Костя направился к кассам. По случаю воскресного дня работала только одна касса, и у окошка выстроилась очередь. Публика в очереди стояла иная – городские жители, они и одеты были по-другому, и выглядели хоть и озабоченно, но все же не так угрюмо, как прежние попутчики. А девушка-билетерша – у нее были завиты короткие волосы и подведены глаза – продавая Косте билет, даже мило улыбнулась:

– Повезло вам, билетов совсем мало осталось. Редко в тот же день покупают, обычно заранее...

– Да вот, срочно посылают в командировку, – объяснил Костя с укоризной в голосе, направленной в адрес жестоких начальников, что посылают человека в непредвиденную поездку посреди воскресного дня.

– Вы инженер, наверное? – поинтересовалась девушка.

– Какая вы догадливая! – восхитился Костя.

– Но не с Сормовского. И не с автозавода, – предположила девушка, тем временем продолжая заполнять бланк билета. – Эти нам наперед звонят, у них всегда бронь имеется...

Костя отошел от кассы, продолжая наблюдать за потоками людей в здании вокзала. Куда спешат все эти мужчины, женщины и дети? Два года прошло с тех пор, как закончилась война, и, кажется, вся страна пришла в движение: все куда-то едут, осколками семей колесят по городам и селам. Оставшиеся в живых фронтовики, вернувшись, не нашли родных, а другие не дождалась своих солдат домой и снимаются с места в отчаянной попытке построить новую жизнь. Демобилизованные солдаты и офицеры отправляются по домам. Командированные курсируют между городами, восстанавливая связи между отстраивающимися производствами. И в этом водовороте людей спрятаться, раствориться совсем не сложно, подумал Костя. Через несколько часов он уже будет дремать в вагоне под стук колес, и к моменту, когда протрезвевшие коллеги обнаружат его отсутствие, он будет в тысячах верст от секретной лаборатории. И еще – в его руках спасительный элемент, козырь, который позволит ему выторговать свободу, выбраться из ненавистой тюрьмы.

Он поел в привокзальной столовой, купил в киоске «Советский спорт» и устроился в зале ожидания, на одной из дальних скамеек. Время тянулось медленно, он то и дело нетерпеливо поглядывал на огромные настенные часы. Казалось, их сонные стрелки еле двигались по циферблату – даже обычно торопливая секундная томно перебиралась с одного деления на другое. И опять он усилием воли заставил сердце биться в унисон с ленивой секундной стрелкой вокзальных часов, отключил тревожное подсознание и увидел себя со стороны: молодой человек со скупающей, но во всех других отношениях приятной физиономией, коротающий время до отбытия поезда за чтением спортивных новостей. Ничего особенного. Все идет по плану.

Июльский день не думал кончаться, солнце ярко освещало перрон, когда Костя наконец загрузился в вагон. Пожилая проводница проверила его билет и дернула подбородком в сторону двери. Его полка оказалась боковой и верхней и почти у самого туалета, так что и не пришлось проявлять вежливость. Он пристроил портфель в ногах, отказавшись от предложенного багажного места внутри нижней полки, и, подтянувшись на руках, запрыгнул наверх. Вагон был почти полностью забит людьми, начавшими свой путь в Москве, и уже имел обжитой вид: на откидных столиках валялась яичная скорлупа и стояли стаканы с недопитым чаем, а на перекладине лестницы, которой он не воспользовался, сушились застиранные детские подгузники. Отдельные пустующие места быстро заняли новые пассажиры.

Костя заплатил проводнице за белье и чай и попытался уснуть, но это оказалось невозможным: по коридору то и дело ходили люди, раздавались взрывы смеха и плач детей,

и за окном все еще не угасал длинный июльский день. Хотя бы жара начала спадать, солнце оставалось позади поезда, который стремительно катился на восток.

Все-таки молодой уставший организм взял свое, но сон был поверхностный, чуткий. Костя то и дело просыпался, его бросало в пот, и он начинал прислушиваться к окружающим звукам, слыша только стук колес и приобретающее все более ночное свойство шуршание попутчиков: похрапывание, посапывание и скрип полок под телами пассажиров, чей сон, видимо, тоже был не глубок. Костя прижимал лицо к толстому стеклу, вглядываясь в пробегающий за окном пейзаж, и удовлетворенно отмечал, что густеет лес и становится все больше хвойных деревьев, а населенные пункты на пути, кажется, попадают все реже. Он снова уснул, и теперь, видимо, на несколько часов.

Он проснулся на какой-то крупной станции: поезд стоял, и у большого вокзального здания светило несколько ярких фонарей, посылающих свет и внутрь вагона. Он явственно услышал лай собаки. Выглянув в окно, увидел двоих милиционеров, которые стояли у подножки вагона, объясняя что-то проводнице; у той было испуганное и непонимающее лицо. Один из милиционеров держал на поводке овчарку. Эти двое явно не охотятся за безбилетниками, понял Костя. Он успел увидеть, как проводница развернулась и направилась в вагон, и следом за ней – милиционеры, и услышал чей-то озадаченный голос: «Проверка документов»; но прежде чем трое показались в проходе вагона, он спрыгнул с полки, схватил портфель и выскочил в тамбур. Подергал дверь туалета, но она была заперта, и он вспомнил, что туалеты закрывают на станциях – да и было бы безумием прятаться в уборной. Костя проскочил дальше, открыв заднюю дверь и оказавшись на площадке между вагонами. Бросил взгляд на перрон и увидел, что там стоят еще несколько милиционеров и в каждый вагон заходят по двое. Он выпрыгнул из поезда с другой стороны, с силой оттолкнувшись ногами и больно приземлившись на соседние пути. Тут же вскочил, подавив крик, и бросился бежать поперек путей, перепрыгивая через рельсы и не понимая, есть ли за ним погоня. Огни товарного поезда вдруг ослепили его, он в ужасе отпрыгнул, чудом не попав под колеса – повезло: поезд замедлял движение, подъезжая к станции, – и покатился в овраг. Волна невыносимой боли подкатила, обожгла левое подреберье, и сознание милостиво погасло.

Он очнулся на берегу пруда. Часы треснули и остановились, и он не знал, сколько времени находился в забытии. Чувства возвращались постепенно: сначала он ощутил такую жажду, как будто в горло вонзился острый нож, потом возникла пронзительная боль в боку, и он, не в состоянии глубоко вдохнуть, догадался, что сломал ребро. Он дополз до воды и сделал несколько жадных глотков, безумно болезненных, но в то же время облегчающих. Тут же он вспомнил про свой драгоценный груз, похолодев от мысли, что портфель может быть потерян. Костя стал озираться по сторонам и обнаружил портфель лежащим всего в нескольких метрах от себя: видимо, несмотря на неистовый побег, он сжимал ручку до того момента, пока не потерял сознание.

Вокруг было тихо и начинало светать – значит, можно было предположить, что сейчас примерно шесть утра, и Костя сделал вывод, что лежал без сознания не дольше получаса: он помнил, сколько времени показывали его часы, когда он последний раз бросил взгляд на циферблат, за секунды до побега. Соответственно, охота за ним в самом разгаре: ошеломленные пассажиры уже дали показания, поделились, как тихий молодой человек, который сел в поезд в Горьком и всю дорогу не покидал верхней полки и не общался с попутчиками, вдруг выскочил из поезда и бросился прочь через железнодорожные пути. И, конечно, у преследователей уже есть не только его устный портрет, но и фотография из личного дела. Разумеется, если искали именно его...

А вдруг он напрасно сбежал? Что если этот обыск не имел к нему никакого отношения? Костя хмыкнул и тут же поморщился – любое хоть сколько-нибудь резкое движение причиняло боль: не стоит обманывать себя, интуиция его никогда не подводила. Да и это являлось не интуицией, а научным подходом: бритвой Оккама, принципом, который заставляет искать простое и самое экономное объяснение любому явлению. Ошибки быть не может, и очень скоро здесь появятся милиционеры с собаками.

Он выпил еще воды из пруда. Боль не отпускала, но становилась более знакомой. Он начинал привыкать к тому, что определенные движения причиняют боль, и старался их избегать. Чувствовать боль – так же, как и страх, так же, как и неуверенность в себе – удел людей низкоинтеллектуального уровня, привычно напомнил себе Костя. Кажется, стойки стремились достичь состояния невозмутимости и безмятежности и считали таковое стратегией земного существования... этому есть название, термин, который Костя, к своему разочарованию, не смог вспомнить, так как память раньше никогда не изменяла ему, и обычно он без труда выуживал из глубин подсознания нечто, прочитанное или услышанное давно и мельком.

Он оглянулся по сторонам. Склон холма, по которому он скатился, вел к путям и обратно на станцию – туда путь был заказан. Впереди был пруд, и вокруг рошица, за которой дымились огромные трубы – очевидно, это был какой-то завод. Костя находился в достаточно крупном населенном пункте, судя по размеру станции, где ему пришлось так неожиданно сойти – он, вспомнив свой заячий побег, усмехнулся, но на этот раз мысленно, дабы не заставить грудную клетку совершить лишнее движение, – и судя по величине завода, виднеющегося на горизонте. Туда-то он и будет пробираться, в город, где сейчас, утром понедельника, люди торопятся на работу, и он, со своей небритой физиономией, совсем не похожей на карточку из личного дела трехлетней давности, сможет затеряться среди них.

Костя попытался поднять портфель. Портфель был не просто тяжел, он был невыносимо тяжел, он отяжелел в три раза по сравнению с утром прошлого дня, когда Костя начал свой путь. Костя снова и снова пробовал оторвать портфель от земли, но всякий раз приступ боли в боку заставлял его замереть, дыхание прерывалось, сильнейший кашель вырывался из глотки, и в течение нескольких минут он не мог справиться с потоком лающих звуков. Выходит, физические страдания все же больше, чем плод воображения, как ни старался он убедить себя в обратном... Он понял, что не в состоянии нести портфель. Посидев еще какое-то время, быстрыми нервными движениями срывая травинки вокруг, он рывком расстегнул кожаные ремешки – грудь опять мучительно сжало тисками боли – и вытащил из-под сложенной запасной рубашки цилиндр с веществом. Содержимое цилиндра он положил обратно на дно портфеля. Ногой толкнул опустошенную оболочку в пруд, и та, булькнув, мгновенно ушла под воду.

Он долго шел по роще, потом через какие-то пустыри непонятного предназначения, а трубы, казавшиеся поначалу так близко, по-прежнему оставались вне досягаемости. Портфель уже не был так тяжел, и все же порой Косте казалось, что он опять потеряет сознание, и тогда он останавливался и присаживался на придорожный камень на несколько минут, но тут же вставал и шел дальше. Наконец помимо труб стали виднеться корпуса завода, и Костя начал забираться влево, чтобы обойти его. Территория стала оформляться в немощеную дорогу, и деревянные домики теперь стояли по обочинам. Поначалу улица была пустынная, но вскоре он встретил прохожую, следом еще: это был какой-то поселок. Костя старался не привлекать внимания, шел независимо и быстро, глядя строго перед собой.

Поселок постепенно разросся в городок, пыльная дорога влилась в широкую мостовую, по обеим сторонам которой теперь стояли не только деревянные домишки, но и каменные постройки, и людей на улицах становилось все больше. Народ шагал стремительно, спеша по делам и на работу и не обращая внимания на случайных встречных, и Костя внутренне порадовался своему решению не прятаться в лесу, а пробираться в город.

Солнце начинало припекать, день снова обещал быть жарким. Он очень захотел пить, казалось, язык распух во рту и пристал к небу, и стало больно глотать. Вдруг повезло: на одной из улочек он увидел водяную колонку. Он склонился над ней и нажал рычаг, благодарно пускающая сладкие холодные брызги в запекшийся рот. Еще продолжая жадно хватать ртом воду, он краем глаза увидел милиционера, проходящего мимо, и все мышцы тут же сковало, он замер в полусогнутом положении, пряча лицо в струе воды. Рядом с милиционером шел парнишка с ведром, кистью и ворохом бумаг в руке. Оживленно беседуя, они остановились в нескольких метрах от колонки, около входа в невысокое здание, и парнишка, обмакнув кисточку и обмазав клеем стену, нашлепнул на нее один из своих листков. Милиционер посмотрел одобритительно, развернулся и пошел обратно, а его спутник отправился дальше. Костя распрямылся, подавляя стон, – онемевший левый бок опять окатило волной горячей боли – и, убедившись, что двое исчезли из вида, подошел к свеженаклеенному объявлению: это был список нарушителей закона, «Их разыскивает милиция», и в одном из преступников он узнал себя – на фотографии трехлетней давности из личного дела.

Впервые за эти два дня он пришел в отчаяние. Ему становилось все очевиднее, как невероятно трудно скрыться от могущественной государственной машины, которая посреди послевоенной нищеты и разрухи нашла возможность за двадцать четыре часа подобраться так близко к человеку, ускользнувшему из ее лап с ее грязными секретами... Он вдруг совершенно обессилел; им овладела нечеловеческая усталость, и он почти опустился в траву у здания с собственной фотографией на стене, чтобы провалиться в спасительный сон, – а там будь что будет, лишь бы сейчас уйти от действительности.

Атараксия, это называется атараксия, вспомнил Костя, и это понятие может быть истолковано не только как умение отстраниться от текущих бед и переживаний, но и как полное к ним безразличие.

Он побрел вперед по пыльной дороге. Перед глазами то и дело повисала пелена тумана, и в голове шумело. Он вдруг понял, что очень голоден, и, поравнявшись с продуктовой лавкой, зашел туда, купил хлеба и тут же впился зубами в буханку, присев на каменные ступеньки у входа в магазин. Двое-трое прохожих недоумевающе смерили его взглядами, но прошли мимо, не останавливаясь.

Утолив голод, он двинулся дальше, но тут же почувствовал, что не в состоянии идти, что может потерять сознание в любой момент. Он представил, что сейчас упадет посреди улицы и просто останется лежать, не в силах встать. Костя оглянулся по сторонам. Он так и не знал, где находится, не встретив ни вывески, ни афиши с названием города. Очевидно, он достиг центральной части города: здесь было оживленно, проезжали автомобили и появились четырех-пятиэтажные кирпичные дома. Костя увидел большой участок земли, обнесенный оградой по периметру, – там шло строительство здания и уже заложен был фундамент. Но стройка отчего-то пустовала, ряды кирпичей возвышались за оградой, стояли бочки с цементом. У него вдруг родилась идея: он может забраться на территорию стройки и отсидеться там сегодня, отдохнуть и продумать дальнейший план действий. Утро было в самом разгаре, и если до сих пор здесь не шла работа, вряд ли она на сегодня была запланирована. Улучив момент, когда вокруг никого не было, он перевалился через невысокий забор и облюбовал себе место между одиноким неподвижным экскаватором и огромной грудой песка. С улицы его заметить было невозможно. Он пристроил портфель рядом с собой, но, подумав, решил спрятать его: аккуратно уложил в углубление под правой рукой, засыпал песком и сверху водрузил несколько кирпичей.

Потом он прислонился спиной к экскаватору и уснул.

Глава 1

Детская память скорее напоминает короткие кадры порванной пленки, чем стройный, полный смысла сюжет кинофильма. Саша не помнила, что она помнила, а что полагала, что помнила, на самом деле лишь пестуя в памяти любимую фотографию из старого альбома, а что просто знала по маминым рассказам.

Помнила точно: дорогу к новому, только что отстроенному дому, где родители приобрели кооперативную квартиру, и которая была тогда – и долго еще оставалась – месивом из глины, песка и банальной грязи. Саша с папой и сестрой возвращалась домой с троллейбусной остановки после утомительного двадцатиминутного путешествия, которое, по масштабам города, увозило их ну на самую уже городскую камчатку. Они вышагивали в крошечной тьме новостройки, освещаемой только редкими звездами и фонарями, и утопали – в буквальном смысле утопали, учитывая их размеры, шести- и двухлетней девочек, – и это запомнилось, видимо, потому, что было неординарно даже в условиях привычной советской грязи.

Саша помнила, как кувыркалась с дивана на ковер и обратно, садилась на продольный шпагат – поперечный так и не был освоен, – и становилась на мостик, и делала «лягушку» и «березку» – на этом репертуар, почерпнутый на секции художественной гимнастики, заканчивался, но этого было достаточно, чтобы вызвать восхищение младшей сестры. Сестра хлопала пухлыми ручками и заливалась от смеха, сидя на спинке дивана, видимо, потому, что пространство дивана как такового, равно как и ковра, было занято Сашиним движущимся телом.

Помнила, как смотрела «В гостях у сказки» по воскресеньям, обедая за журнальным столиком, придвинутым все к тому же дивану. Мама никогда не была слишком строга к детям, и если шла интересная передача, им позволяли есть в комнате. Сидя на диване, можно было также лепить из пластилина и рисовать красками, полагалось только расстелить газету.

Помнила папу лежащим на этом самом диване – странно лежащим, потому что не с газетой и не вечером, а среди белого дня – может, выходной? – и на животе, свесив голову и руку и поджав ногу в позе очевидно неудобной. Почему это запомнилось? Возможно, это повторялось с определенной регулярностью, а может, это было одним из последних воспоминаний, в которых он еще фигурировал, незадолго до посещения областного ракового диспансера, в вестибюле которого люди сидели вдоль стен, старые и грустные, а Сашины родители – молодые и веселые – обнимались на глазах у всех. Правда, папино лицо иногда искажала страдальческая гримаса, и, вернувшись домой, он упал на диван и замер все в той же необычной позе.

Диван присутствовал в ранних Сашиних воспоминаниях почти как член семьи. Желто-коричневый, с широкими ручками и спинкой, он участвовал во многих семейных действиях или был их молчаливым свидетелем. Но вскоре он исчезает. Он остался, вместе с другими представителями домашней мебели и утвари, в запертой квартире, откуда после папиной смерти осиротевшая семья переехала к бабушке и дедушке в пятиэтажный дом сталинской постройки на проспекте Карла Маркса.

Когда во втором-третьем классе Саша начала писать коротенькие сказочные истории, в которых главными героями были неодушевленные – и одушевляемые ею – предметы, одной из первых историй стала такая: мебель восстает против жестокого хозяина, и во главе восстания, конечно же, сильный, справедливый и идеологически правильный диван...

Саша и ее сестра Соня были беззаботными советскими детьми, у которых было все, что необходимо для счастливого детства. При этом вызвать их восторг не составляло труда: привозимые из Москвы зеленые бананы и пакетики жареной картошки вызывали чувство счастья полного и безграничного, а иностранная игрушка – стиральная машина, работавшая на батареек и способная по-настоящему постирать детские трусики или носовой платок – процесс,

который можно было еще и наблюдать через стекло иллюминатора в дверце машины, обеих девочек вгонял в состояние сродни религиозному экстазу.

Было все, не было только отца, и мама перебралась жить к родителям для поддержки и материальной, и всякой. Жизнь в одной квартире с бабушкой и дедушкой в любом случае была скорее правилом, чем исключением, и семьи без отцов не являлись редкостью, так что и Сашина семья казалась не ущербной, а, наоборот, обыкновенной здоровой ячейкой общества.

Папа умер в феврале, не дожив ровно месяца до своего тридцатилетия, и последние недели перед его смертью семья жила на Карла Маркса, где бабушка и мама попеременно за ним ухаживали.

Кооперативная квартира Сашиных родителей располагалась на улице Энгельса, а дедова – на проспекте Карла Маркса, поэтому в семейном, свободном от ненужных длиннот и всем понятном наречии утвердилось: «буду на Карла Маркса», «поеду на Энгельса», и эти бородатые дяденьки, портреты которых Саша также видела на страницах бабушкиного учебника политэкономии, ей казались почти какими-то дальними родственниками. Маленькая Соня однажды впопыхах сказала: «Хочу на Карла-Марла», взрослым это понравилось, и они так и стали называть дедушкину квартиру. Так вот, де-факто переезд состоялся еще зимой, а окончательно вещи перевезли и Энгельса заперли на ключ где-то к апрелю. О смерти папы Саше сообщили через несколько дней после его похорон. Саша всплакнула, но менее горько, чем, скажем, пару месяцев назад, когда при спуске с горки сломалась одна из лыж, только что подаренных на Новый год. То было горе осязаемое, реальное, с последствиями, это – противоестественное: умирали мамы и папы, оставляя детей сиротами в народных сказках, но, во-первых, сказки случались давно, а во-вторых, сам жанр сказки для литературно грамотного ребенка, каковым являлась Саша, предполагал нечто выдуманное, ненастоящее; в настоящей жизни могла умереть древняя деревенская прабабушка Сашиной детсадовской подружки, но даже Сашины молодые дед и бабуля умереть не могли по определению. Саша продолжала спрашивать, где же ее папа и скоро ли он вернется, пока, пойдя в первый класс, не обнаружила на последней, самой интересной странице классного журнала прочерк в графе «отец». И прочерк этот стал неотделимой частью ее жизни, как и загадочное «евр» в соседней графе все того же журнала, густо окруженное доступными «рус». Только еще у одного мальчика встречалось не менее загадочное «тат», и подобные aberrации вызывали у одноклассников куда более живой интерес, чем пробел в соседнем отсеке.

В конце февраля, в один из выходных дней, Саша вышла во двор на прогулку. Погода была именно такой, какой ей положено быть в это время года в русском городе средней полосы. Снега лежало еще предостаточно, но он заледенел, потемнел и потерял столь необходимую для любимых зимних развлечений липкость. Воздух был сырой и промозглый, хоть и безветренный, так как от ветра двор был защищен домом, изогнутым буквой Г, и соседним, стоящим близко, зданием. Делать было нечего; во дворе располагались две лавочки и песочница, пустующие по причине сезонной непригодности; других объектов, даже простецких качелей, не наблюдалось. По сравнению с Энгельсом, где одновременно со сдачей дома возвели детскую площадку, двор на Карла-Марла оказался грустным. На Энгельса встреча со знакомыми мальчиками и девочками была гарантирована в любую погоду. Кооператив заселялся молодыми семьями работников Горьковской железной дороги, к которой Сашины родители, к слову, не имели никакого отношения – они были бластные, как и множество других семей. Как бы то ни было, дети присутствовали в большом количестве в семиподъездном девятиэтажном муравейнике. Карлу-Марлу же построили давно, в 1947 году, о чем Саша знала благодаря выложенным грязно-розовыми плитками цифрам на первом этаже прямо при входе в ее – первую – квартиру. Что, кстати, было особенно – жить в квартире номер один, хоть этот факт и не при-

мирял до конца с необходимостью переезда в скучный дом, жильцы которого успели собраться, а дети если и встречались, то лишь немногочисленные внуки первоначальных обитателей. Безликий адрес на Энгельса запоминался с трудом: дом 59, четвертый подъезд, квартира сто восьмая. Дедов же адрес даже двухлетняя Сонечка произносила без запинки (когда не спешила): Карла Маркса, один, квартира один.

Так, значит, был легко запоминающийся адрес, обманчивый, как блестящая обертка безвкусного батончика, и было удобное расположение – в центре города, в пяти минутах ходьбы от красивой площади Ленина, где, кроме обязательного одноименного памятника (вот в семейном лексиконе и появился еще один почти родственник), находились также здание горсовета с мощными колоннами, драматический театр и фонтан с зеленым сквериком. А более ничего не было, как-то: веселого двора и друзей-ровесников.

Саша бесцельно бродила по двору, уже подумывая, не вернуться ли домой, когда дверь углового подъезда открылась и оттуда вышла девочка примерно Сашиного возраста. На девочке было самое обыкновенное серое пальто, какие носили все, но шапочка была очень красивая: разноцветная, с ушами, помпоном и вязаными розочками по краю. Варежек не было. Девочка стала медленно приближаться к Саше, и та продолжила ковыряние в снегу носком валенка, пытаясь сохранить вид независимый, тем временем исподлобья наблюдая за соседкой и потенциальной подружкой. Девочки побродили еще какое-то время, каждая сама по себе, вроде бы хаотически, но все же постепенно сближаясь. Наконец, соседка спросила, а скорее, бросила в воздух, не глядя на Сашу:

– А ты с нашего двора.

– Я теперь здесь живу, – сказала Саша, держась пока на расстоянии, и безразличным голосом.

– Это в какой квартире?

Саша махнула рукой в сторону первого подъезда. Многословное рвение было бы сейчас плохим тоном, указывающим на желание напроситься в друзья.

– Там умерли и гроб стоял, – поделилась девочка.

Саша заужала ее осведомленность, но решила пока не делиться тем, что имела к выше-сказанному непосредственное отношение.

– Там еще полковник живет на первом этаже и летчик на третьем. У летчика жена болеет.

Такие познания заинтриговали Сашу еще больше. Полковником, допустим, был ее дед, а летчиком – дядя Феликс, которого она знала, поскольку дед с ним дружил, но как соседская девочка могла быть в курсе происходящего, ее непосредственно не касающегося? Впоследствии Саша убедилась, что информированность новой подружки в тот день не являлась случайностью. Она входила в круг тех представительниц женского пола, которые чудесным образом являются носительницами – и распространительницами – самых неожиданных знаний. Тот факт, что в садик она не ходила, а проводила время с мамой-художницей, которая работала дома, и то, что любимым ее занятием было восседание на подоконнике у окошка, ведущего во двор, – прекрасный пункт наблюдения! – никакой роли не играло, так как ситуация не изменилась совершенно, когда Кира пошла в школу, где, кстати, училась спустя рукава, несмотря на прекрасную память и цепкий ум. Просто она впитывала всевозможные сведения, приберегая их стратегически, пока не придет время извлечь из них какую-нибудь конкретную пользу (или просто впечатлить собеседника), а организованное зазубривание отвлеченных школьных предметов считала ниже своего достоинства.

– Откуда ты знаешь? Про полковника и про летчика? – спросила Саша.

– Мне семь, – поведя плечами, объяснила девочка.

– Так ты уже в школе учишься! – облегченно сказала Саша, мирясь с ее превосходством.

– Нет, я в этом году пойду. Я сентябрьская. Мама хотела раньше отдать, а папа сказал, нечего ребенка мучить, успеет выучиться. Такие вопросы у нас в семье папа решает, – подробно

ответила девочка. Саша продолжала смотреть на нее с уважением, такая она была взрослая и так авторитетно все рассказывала.

– Только я не в четырнадцатую пойду, – продолжила девочка. Руки ее совсем замерзли, покраснели и покрылись пупырышками, и она их спрятала в карманы пальто, приобретя вид еще более уверенный.

– А в какую? – удивилась Саша, зная уже, что все дети из этого дома шли в школу напротив под номером 14, кроме разве что внука дяди Феликса, который ходил в другую школу, для неумных детей. Но вряд ли эту девочку собирались туда отправить.

– В английскую, – гордо развеяла девочка Сашино недоумение, – мой папа говорит, надо учить английский, пригодится.

Здесь Саша почувствовала, что просто обязана сказать что-то о своем папе, чей гроб недавно стоял у подъезда, согласно наблюдательной соседке, – сама-то Саша гроба не видела, ее удалили из дома на время похорон, и смерть отца продолжала казаться ей иллюзией, глупой злой шуткой.

– А мой папа главный по ЭВМ на заводе.

Это было чистой правдой. В течение последнего года жизни Сашин папа возглавлял многообещающий компьютерный отдел секретного военного завода по производству танков. Саша приходила к нему на работу и была, возможно, первым ребенком в Советском Союзе, увидевшим настоящие компьютеры – громоздкие машины, занимавшие целую комнату, которую и называли папиным «отделом». Машины гудели и выплевывали белые листы бумаги, скрепленные между собой, с дырочками по краям и крошечными ноликами и единичками на обратной стороне. Иногда папа приносил листочки домой и на них можно было рисовать.

Возможно, если бы девочка увидела эти огромные машины и эти удивительные листочки, она была бы впечатлена. Теперь же она пожалала плечами и сменила тему разговора.

– Ты в подвале была?

Саша знала о существовании подвала, где каждый жилец дома имел небольшой отсек. Она, разумеется, ни разу туда не спускалась. Дед иногда ходил в подвал, куда вела небольшая дверь под лестничной площадкой. Он брал тяжелый ключ и возвращался с трехлитровой банкой компота или маринованных огурцов.

Саша честно помотала головой, и девочка сказала:

– У нас из девчонок только я хожу. Даже некоторые мальчишки боятся, – сдержанная гордость звучала в ее голосе. – Хочешь, стоняем?

Саша поняла, что это проверка. Сашу, дворового новичка, испытывали: стоит она доверия и дружбы, или ее можно списывать с корабля в коллектив обыкновенных девчонок и отдельных трусливых мальчиков.

В семье Саша считалась самой бесстрашной: она раскачивалась на качелях «до неба», висела на турниках вниз головой и ходила на все аттракционы в детском парке – если пускали в соответствии с ростом и возрастом. Сашина храбрость, однако, распространялась на поступки, которые если и могли привести к неприятным последствиям, то лишь физического характера. Длинный темный коридор дедовой квартиры, по которому иной раз надо было пройти ночью, чтобы попасть в туалет, таил в себе намного больше опасностей, чем, допустим, спуск на лыжах по крутому склону холма, и, бывало, Саша не находила в себе мужества встать и преодолеть этот мистический путь, и отчаянно ерзала в кровати.

Здесь же был вопрос принципа. Можно было отказаться – и остаться в безопасности двора, вызвав у девочки, наверное, удовлетворенное «так я и думала» пожатие плечами и подтвердив за ней репутацию единственной представительницы женского пола, которая решается спускаться в подвал. Или согласиться – и, натерпевшись страха в темном подземелье, выйти оттуда уже полноправным членом дворового коллектива.

– Пошли, – сказала Саша беззаботно, оставив все эти мысли и колебания, как ей хотелось верить, не замеченными собеседницей.

Оказалось, сначала надо было зайти домой за ключом.

Они поднялись на четвертый этаж, и девочка несколько раз постучала ногой по деревянной двери.

– Звонок не работает, – пояснила она.

За дверью раздались неспешные шаги, и Саша слышала незлобное ворчание, продолженное уже на пороге:

– Кирка, ну что надо, ну десяти минут не прошло... – и только теперь Саша узнала, что соседку зовут Кира.

На пороге стояла красивая молодая женщина с длинными распущенными волосами, в длинном шелковом халате, из-под которого, похоже, проглядывала ночная рубашка, и с сигаретой во рту.

– Нина, не ругайся, я за скакалкой, – соврала Кира, неожиданно для Саши назвав мать по имени.

– А как зовут нашу новую подружку? – сменила Нина гнев на милость.

Саша быстро ответила на вопрос, сообразив, что и Кира не осведомлена о ее имени. Впрочем, было не понятно, расслышала ли Сашу женщина, поскольку она уже удалялась по коридору, шурша халатом и пуская дым.

Кира прошмыгнула в комнату, не сняв валенок.

Саша огляделась по сторонам, привыкнув к полумраку прихожей.

Здесь все было необычно. Сашина квартира, а также те квартиры, где Саше приходилось бывать, обставлялись более или менее одинаковой мебелью и выглядели предсказуемо и скучно.

Здесь отсутствовали обои и стены были раскрашены какими-то диковатыми узорами и цветами, а в углу, перетекая конечностями с одной стены на другую, была даже нарисована не совсем одетая женщина, смутно напоминающая Кирину маму. На двух неярких торшерах красовались абажуры, сплетенные из разноцветных веревочек, и из таких же веревочек были сделаны несколько кашпо, в которых располагались горшки с домашними растениями. Кашпо были развешаны почти под самым потолком, и тонкие вьющиеся ветви незнакомых Саше растений, казалось, вплетались в узоры на стенах. Комнату от коридора отделяла не дверь, а какие-то болтающиеся, сплетенные между собой деревянные пластинки.

Пластинки стукнули одна о другую, и появилась Кира. Она несла никому не нужную скакалку для маскировки, а карманы ее пальто оттопыривались: в одном лежал большой ключ, как у Сашиного деда, а в другом – фонарик.

Вместе девочки спустились на первый этаж, и Кира по-хозяйски отперла тяжелую дверь подвала, заскрипевшую в лучших традициях приключенческих романов. У Саши вверху живота что-то оборвалось и провалилось к мочевому пузырю, и захотелось писать, но было поздно: Кира уже вошла внутрь, и пришлось последовать за ней. Узкий проход освещался тусклой мигающей лампочкой, которая не добавляла уверенности, а, напротив, вселяла еще больший страх. Кира включила фонарик и дугой обвела окружающие потолок, стены и пол, осветив пыль, и паутину в углах, и потрескавшуюся штукатурку, которая местами обвалилась, обнажая кирпичи и заскорузлый, поблекший линолеум. В дальнем углу, там, где проход делал поворот налево, Саша успела увидеть мертвую мышь, которая лежала лапками вверх. Запах стоял тошнотворный, очень неприятный: Саша вспомнила, что подобный запах был ей знаком по поездкам в лес, где иногда в поисках грибов они с бабулей и мамой набредали на болото.

Девочки гуськом двинулись вперед, повернули налево и оказались в проходе пошире, по обе стороны которого, на расстоянии полутора метров друг от друга, располагались одинаковые двери, но с разными всяческими замками, от совсем маленьких до внушительных и явно

очень надежных. Двери были пронумерованы соответственно квартирам наверху, и Саше подумалось: неужели дед запирает их личную ячейку под первым номером одним из таких вот мощных замков, если все, что в ней хранится, это бабулины соленья и варенья.

Неожиданно сзади раздались шаги. Саша окаменела, боясь обернуться.

– Тихо, – шепнула Кира, как будто возможно было вести себя тише камня, в который Саша превратилась.

Кира схватила ее за руку и потащила вперед. Оказалось, за последним отсеком слева были тупик и ниша, в то время как напротив коридор снова поворачивал и виднелся следующий, полный новых запертых дверей. Девочки заскочили в нишу и присели на корточки. Шаги приближались. Саша прикрыла глаза: если какой-нибудь индеец Джо примется убивать ее своим томагавком, лучше этого не видеть. Шаги затихли совсем близко, и раздалось металлическое бряцание: отпирали замок.

Кира высунула свой любопытный носик и один из двух бесстрашных глаз из-за угла и тут же нырнула обратно в укрытие. Она пожестикулировала в воздухе и беззвучно пошевелила губами, и Саша так поняла, что опасность миновала.

Шуршание за углом продолжалось довольно долго, но уже не было так страшно. Наконец, шаги начали удаляться. Прежде чем они окончательно затихли, Кира вылезла из укрытия, и Саша последовала за ней.

– Кто это был? – шепотом спросила Саша.

– А, сосед, ничего особенного. Он глухой, один живет, Нина иногда ему еду приносит. Вечно тут в подвале ошивается. Если бы нас здесь увидел, точно бы Нине доложил.

Манера Киры называть мать по имени опять резанула Саше слух. Эта молодая, немного странная женщина, которую она только что встретила, и впрямь не была похожа на известных Саше мам. Ее личная мама, например, тоже была молодая и красивая, но она не курила сигареты, не ходила в ночной рубашке до обеда и носила модную стрижку, а не длинные распущенные волосы.

Девочки между тем шли по следующему коридору, очень длинному. Кира указала на единственную дверь без замка и приоткрыла ее, тяжелую и скрипучую, не без труда. Саша увидела пыльный детский велосипед; больше ничего за этой дверью не было.

– Ты на двухколесном умеешь? – в своей манере, деловито, спросила Кира.

По ее тону Саша поняла, что Кира-то наверняка умеет, и порадовалась внутренне, что в грязь лицом не ударит. Она коротко кивнула, начав уже перенимать небрежный, независимый стиль общения новой подружки.

– А я нет, – неожиданно сообщила Кира. Это тоже было ее особенностью: она сдержанно гордилась своими достоинствами, не скромничая и не кокетничая, но также и не пыталась приврать, чтобы показаться лучше, чем есть. – Меня папа этим летом учить будет. Если велик не сопрут, – добавила она, вздохнув.

Бытовой этот разговор как-то положительно повлиял на Сашу, страх проходил. Она теперь спокойно шла по этим неприветливым, но не таким уж, в общем-то, жутким коридорам. Еще один проход закончился нишей в стене и повернул направо. Оказалось, что девочки идут по кругу, точнее, по периметру прямоугольника. Когда они дошагали до его следующей стороны, Кира обратила Сашину внимание на неприступную железную дверь, которая выглядела очень странно. Цель двери – открываться, иначе зачем она вообще нужна. Эта была вмурована в стену, плотно прилегая к ней всеми четырьмя гранями, и петли были совсем ржавые, но главное – отсутствовали ручка, замок или даже замочная скважина. Саша могла поклясться, что эту дверь никто и никогда не пытался открыть.

– Хочешь, секрет расскажу? – спросила Кира.

– Хочу, – ответила Саша, и ноги ее опять похолодели.

– А никому не разболтаешь? – и Кира строго посмотрела на подругу.

– Нет, – твердо сказала Саша.

– Побожись.

– Что?

– Ну, перекрестись, в смысле.

Это было слишком: в семье Саши о боге не говорили, не только потому, что, как она знала, все были настоящими советскими людьми, но еще и потому, что были евреями, а евреи не крестятся. Именно так Саша и объяснила свой отказ креститься.

Кира недоуменно на нее посмотрела.

– А как будешь клясться тогда? Ну, как эти... евреи клянутся?

– Ну, не знаю... просто, может, честное октябратское сказать?

Кира пожала плечами, но соблазн поделиться тайной был велик, и пришлось согласиться на не самую надежную, на ее взгляд, клятву.

– Знаешь, что там? – она указала на дверь. – Там покойник замурован.

Саша вздрогнула. Слишком часто последнее время ее детская жизнь заставляла ее соприкоснуться с отвлеченным понятием смерти.

– Ерунда, не может этого быть. Откуда покойник взялся? – возмутилась она.

– Когда дом строили, одного рабочего убили и, чтобы никому не говорить, в стенку положили. Его дух теперь по дому ходит и людям жить спокойно не дает.

От такого заявления, нарушающего все ее стройные представления о мироздании, культивированные папой-математиком, Саша просто вскипела:

– Да кто тебе вообще такую ерунду сказал?

– Баба Катя. Она к нам из деревни жить приезжала, хотела насовсем остаться. Пожила-пожила и уехала обратно, сказала, наш дом мертвяками пахнет. Нина ее ругала и обзывала, а она все равно сказала, что здесь ничего хорошего, и уехала. Она пока с нами жила, вся больная ходила, слабая, и волосы лезли.

– А покойник при чем?

– А для чего, думаешь, эта дверь? – усмехнулась Кира.

Что правда, то правда – предназначение двери оставалось неясным, поскольку было очевидно, что дверь не функционировала ни при каких обстоятельствах. Так что Саше крыть было нечем, и учитывая Кирину осведомленность в других вопросах – в которой Саша ранее убедилась – и полную невозможность объяснить существование двери каким-либо другим образом, – приходилось временно уступить.

Саша так и не поверила окончательно в замурованного покойника, и, возможно, со временем нашлась бы аргументация в пользу какого-то иного объяснения, однако больше девочки к этому обсуждению не возвращались.

Погода пошла на поправку, и никому уже не хотелось лезть в подвал, так как были развлечения и на улице, а вскоре Кира уехала к бабе Кате в деревню. Она вернулась к концу августа, еще более деловая, хоть так и не научилась кататься на двухколесном велосипеде, и пошла в свою особенную английскую школу, а Саша пошла в обычную, напротив дома.

Глава 2

Саша делила с сестрой комнату в дедовой квартире и кровать. Сестра потом говорила, что Саша с нее вечно стаскивала одеяло, и пинала, и вытесняла с узкой кровати. Возможно, так оно и было. Саша по прошествии лет не могла припомнить, чтобы соседство с сестрой доставляло ей какие-либо неудобства: та была миниатюрной, худенькой и, когда Саша отправлялась в постель, обычно уже крепко спала. Главной помехой было не то, что комнату приходилось делить, а то, что у комнаты не было двери.

Когда-то дверь была, но открывалась наружу, в коридор, и задолго до переезда девочек впритык ко входу поставили громоздкий шкаф-гардероб, где хранились вещи бабули. От шкафа исходил, казалось, просачиваясь сквозь замочную скважину (шкаф был старомодный, запирался на ключ – хотя на самом деле его не запирали, но ключ торчал), запоминающийся запах бабулиных духов, знакомый сестрам также по ее шарфикам, и сумочкам, и пошитым на заказ кофточкам из удивительного этого шкафа. Поэтому, дабы дверь не препятствовала пользованию створками шкафа, ее сняли, косяк покрасили. Дядя Феликс, мужчина рукастый, предлагал соорудить на ее месте выдвижную дверь на роликах, наподобие таковой в купе поезда, но дед не считал это необходимым, видимо, полагая жизнь двух маленьких девочек общественным, а не частным явлением.

Постепенно, впрочем, оказалось, что отсутствие двери обладает одним очень даже положительным свойством. Жизнь семьи, и самая любопытная ее часть, а именно – обмен новостями – продолжалась после того, как Сашу прогоняли спать. Дед садился в большой комнате смотреть программу «Время», которая в их часовом поясе начиналась в десять вечера. Он придвигал кресло поближе к экрану телевизора, поскольку в результате военной контузии неважно слышал; бабуля, укрывшись тонким вязаным пледом, отдыхала на диване. Мама сидела рядом, за обеденным столом, со своими бумагами – она в ту пору начала подготовку кандидатской диссертации. Правда, когда приходилось что-то печатать на машинке, она скрывалась на кухне, плотно закрыв дверь.

Саша была молчаливым, но непременно участником таких вот вечеров – о чем взрослые даже не подозревали. Она лежала, глядя в потолок и следя за пробежавшими по нему светотенями, и ловила обрывки бесед, иногда неясных, смысл которых ускользал от нее, а иногда вполне доступных. Реплики взрослых сливались с равномерным голосом диктора, к чьим уже совсем непонятным словам Саша тоже любила почему-то прислушиваться.

Потом все расходилось. Бывало, мама заходила в комнату перед тем, как лечь, и Саша быстро отворачивалась к стене, притворяясь, что спит, потому что знала, что ее веселая, боевая мама будет неподвижно сидеть на краешке кровати и по ее лицу будут стекать слезы, и Саше казалось, что эти полуночные слезы – тайна, которой мама не хотела бы ни с кем делиться. Иногда Саша долго лежала без сна, прислушиваясь к разнообразным звукам: дедову покашливанию и кряхтению, бабулиному посапыванию и маминим еле уловимым всхлипываниям, – и даже научилась определять время по часам с кукушкой, которые висели на кухне и куковали каждые полчаса: один раз в середине часа и в полный час соответствующее количество раз. Изредка удавалось дождаться того длинного промежутка, когда кукушка три раза подряд говорила одно лишь «ку-ку», и это означало время безумно позднее.

В один из таких вечеров Саша узнала, что выходит замуж молодая соседка Таня, дочь старой соседки Вали.

- Таня выходит замуж, – сообщила бабуля со своего уютного дивана.
- Давно пора, – сказал дед категорично.
- Валя плачет, – добавила бабуля, шурша газетами.

Саша хорошо ее в этот момент представила: очки на носу, любимый плед натянут до подбородка, а под ним ходят ходуном, шевелятся пальцы ног – была у бабули такая привычка.

– Плачет? Спасибо надо говорить тому, кто эту дурнушку замуж берет, – все женщины для деда делились на две неравные части: красавицы, в число которых входили все «его» женщины: бабуля, мама, мамина сестра, еще некоторые особы киношно-телевизионного свойства, например Элина Быстрицкая, – эти ряды обещали пополнить собою и Саша с сестрой, разумеется; и все другие, несимпатичные.

По правде сказать, в случае Тани он был близок к истине: она была полновата, в веснушках, с волосами неопределенной длины и цвета уже не блондинистого, но и не совсем рыжего.

– Танин молодой человек – грузин, – продолжила бабуля. – Валя приходила сегодня, плакала, говорила – лучше бы уж еврей, – в бабулином голосе слышалась улыбка.

– А ты что ей сказала? – грозно спросил дед.

– Отругала, конечно. Ты же, говорю, Валя, советский человек, откуда такие предрассудки? И вообще, говорю, тебе не кажется, что такими словами ты можешь меня обидеть? Она еще больше рыдает: Как же я, говорит, могу вас, Раиса Семеновна, обидеть? Я же, наоборот, говорю, лучше бы из ваших. Ну что с ней спорить?

– А где Таня грузина нашла?

– Он с ней в техникуме учится...

Разговор постепенно изменил направление. Дед вскоре пошел спать, а бабуля и мама еще смотрели какое-то кино, и Саша догадывалась, что не очень-то интересное, потому что они продолжали перешептываться на разные темы, видимо, не слишком следя за происходящим на экране. Саша медленно погружалась в сон, представляя себе Таниного жениха – молодого черноволосого джигита, затянутого широким поясом в талии и с необычными кармашками на обеих сторонах груди, – таким был изображен грузин в Сашиной книжке «Пятнадцать сестер» – про пятнадцать советских республик.

Танин молодой человек оказался не грузином, а осетином – другой кавказской разновидностью, о которой Валя даже не слышала, что вызвало еще более горькие слезы и упреки в адрес дочери.

– Что, не могла она из наших найти? – повторяла плачущая Валя.

– Да где они, ваши, наши, какие хочешь, – сердилась бабуля.

Она отпаивала Валю из своих фарфоровых кофейных чашечек, которые приносила в комнату на серебряном подносе. Кофе она варила в металлической турке, и по всей квартире разносился знакомый Саше аромат. Валя оставалась безутешна.

– Посмотри, все ходят неухоженные, грязные, спились все! А этот – он же на нее как на королеву смотрит, на руках будет носить.

Саше казалось, что бабуле надоели эти ни к чему не приводящие уговоры, и в ее голосе все чаще звучало раздражение.

Саше любопытно было посмотреть на Таниного жениха, и как-то она встретила обоих во дворе. Жених совершенно не походил на книжного грузина с осиной талией и широкими плечами, в узких блестящих сапогах. Был Борис низенький, почти одного с Таней роста, грузный, с мясистым носом на квадратном лице, и к Сашиному главному разочарованию, одежда его совсем не отличалась от обычной – на нем были свитер в ромбик и мешковатые серые брюки.

Вскоре, возвращаясь из школы, она столкнулась с парочкой в подъезде. Борис держал Таню за руку, а та стояла, прислонившись к стене, и смотрела на него мечтательными глазами. Саша видела подобные сцены во взрослом кино.

– Ой, привет, Саша, – сказала Таня, – Познакомься, Борис, это наша соседка Сашенька.
– Здравствуй, Саша, очень приятно, – обращение на «вы» было неожиданным и лестным, и понравился выговор Бориса: он произносил слова с заметным акцентом, который придавал его речи шарм и значительность.

– Здравствуйте...

– Это про вас Таня говорила, что вы знаете столицы всех республик и всех стран Европы? Саша призналась, что это правда, и он закатил веселые черные глаза и сказал:

– Ну хорошо, назовите столицу Грузии.

– Тбилиси, – тут же ответила Саша: был октябрь, она ходила в первый класс и активно обзаводилась привычками будущей отличницы.

– Вот молодец! Таня, бери пример с ребенка.

Саше показалось, что Таня может обидеться на подобное замечание, и попыталась оправдать свою осведомленность:

– Мне просто география нравится... и у меня карта дома висит.

– А! – понимающе протянул Борис, и даже в этом «а!», казалось, слышался чудесный его акцент.

Саше он очень нравился, к тому же Таня, похоже, не собиралась обижаться.

– Так, приступайте теперь к странам Африки, – подмигнул Борис.

– Хорошо, – вежливо согласилась Саша и стала открывать дверь ключом, – до свидания...

Следующим днем была суббота, и Борис с Таней поехали в Заречный парк на прогулку. Стояло бабье лето, столь любимое в здешних краях, где зима, долгая и холодная, изнуряет людей и природу, и даже ожидание зимы само по себе нагоняет тоску.

Автобус шел через мост, а потом по пологому берегу реки, и можно было любоваться противоположным берегом, густо поросшим деревьями, уже сменившими однородную зеленую окраску на разнообразные осенние тона, желтые, оранжевые и багровые. Солнечные лучи освещали салон автобуса и Танино лицо, нос ее блестел, а глаза в ярком свете солнца из неопределенно-серых стали почти синими.

– Это разве солнце! Это разве краски! – растолковывал Борис, и в пору было обидеться за скромную Танину родину, выдавшую сегодня эдакий нетипично красочный денек, который должен был побудить неблагодарного чужестранца покивать одобрительно – да, смотрите, выходит, и здесь природа может глаз радовать, – а он только критиковал, а Таня предательски кивала. – Поедем ко мне, увидишь море! – он почмокал губами, не находя подходящих русских слов, чтобы даже решиться описать это самое море, а может, и на своем языке не знал таких слов.

Таня никогда не была на море, она и плавать толком не умела. Ей, собственно, и моря никакого не надо было, ей с Борисом хорошо было в этом пыльном душном автобусе, который тащился вдоль реки, изрыгая выхлопные газы и останавливаясь каждые несколько минут.

Они добрались до парка и пошли по дорожке по направлению к Александровской ротонде. Ротонду поставили в прошлом веке по случаю приезда в город государя-императора, она уцелела в годы революции и Гражданской войны и до сих пор вызывающе белела на самом высоком месте парка. Здесь прогуливались влюбленные парочки, и сюда традиционно приезжали молодые между возложением цветов к памятнику Ленина и банкетом.

Сегодня в парке было пустынно, и можно было насладиться полным почти одиночеством. Прошагал мимо пожилой мужчина с собачкой, еще одна пара скрылась в кустах за ротондой. Таня и Борис пошли в другом направлении и вскоре поравнялись с лавочкой, на которой, лузгая семечки, сидели три парня вполне дружелюбного вида.

Борис почувствовал, что Танины мышцы напряглись в кольце его руки. Она процедила сквозь зубы:

– Не смотри в их сторону, не смотри...

Они уже прошли мимо и удалялись по дорожке, возможно, чуть быстрее, чем до этой встречи, увлекаемые странно подозрительной Таней, когда сзади раздался молодой развязный голос:

– Мужик, а мужик...

– Не оборачивайся! – прошипела Таня.

Они еще ускорились, но голос, казалось, только зазвучал ближе:

– Мужик, куда торопишься?

Борис резко остановился и обернулся, увидев парней совсем близко. Вблизи они уже не выглядели дружелюбно: молодые, с нечистой кожей и темноватыми зубами, они стояли на дорожке полукругом, не спуская наглых, уверенных глаз с Бори и Тани.

Все сохраняли тишину с полминуты, и все тот же парень сказал-бросил (другие два продолжали молчать, покачиваясь с пятки на носок):

– Больно курточка у тебя хорошая.

На Борисе и правда была красивая замшевая куртка, импортная.

– Сними, отдай им куртку, – опять прошептала Таня.

Борис побелел и больно сжал косточки Таниной руки. Так он стоял молча, не шевелясь, казалось, долго, а на самом деле, наверное, несколько секунд.

– Ну давай, давай, раздевайся, сказано тебе, – тем же ровным голосом произнес парень.

Таня начала торопливо стаскивать рукав Бориной курточки, он же по-прежнему стоял бледный, глядя в пространство жуткими черными глазами.

Таня наконец-то справилась с курточкой и отдала ее тому самому парню, чей голос они только и слышали – его приятели продолжали скалиться молча.

– Ты че, обиделся? – примирительно сказал парень. – Хочешь, я тебе свою отдам? – друзья его загоготали одобрительно – он явно здесь верховодил и, возможно, считался шутником.

Борис побледнел еще больше, он теперь стоял совсем бесцветный, и крупные капли пота катились по его лицу.

– Пошли, пошли, – Таня неловко дергала его за руку где-то повыше локтя, и на ее глазах выступили слезы.

– Ты, чувак, че, нерусский? Русский язык понимаешь? Вали отсюда! – и парень по-уголовному пощелкал пальцами.

Таня явно была его союзницей – она продолжала тащить Бориса за рукав теперь уже тонкой голубой рубашки.

Борис медленно, как во сне, развернулся, и листва хрустнула под подошвами ярко начищенных ботинок. Возможно, это надоумило парня, а может, растущее раздражение против этого очевидно не нашего чувака, который с первого раза не понимает – а может, и вовсе по-русски не говорит? – но он опять окликнул Бориса:

– Ботинки тоже снимай!

В тот же момент затрещал рукав рубашки – это Борис вырвался и размахисто и сильно, но как-то не совсем ловко ударил парня кулаком правой руки: тот пошатнулся, однако удержался на ногах и, будучи покрупней и повыше Бориса, нанес ему ответный удар, по-хулигански, раскрытой пятерней в лицо. Борис упал. Страшно закричала Таня. Трое окружили Бориса и пнули пару раз. Борис лежал неподвижно, и в следующие несколько секунд нападающие, по-видимому, осознали, что кричит-то лишь девчонка, а парень этот – придурок! – как молчал все время, так и молчит, будто мертвый. Да он и есть мертвый! – глаза закатились, рот приоткрыт криво, и розоватая слюна катится по подбородку.

– Мужики, да он сдох! Рванули! – они бросились в кусты, и треск ломающихся веток заглушил топот их ног.

Борис не очнулся в машине скорой помощи. Он глубоко и беспорядочно дышал, но в сознание не приходил. Обезумевшая Таня сидела рядом, качаясь из стороны в сторону, и скулила совсем не по-человечески, как больное животное.

В приемной неврологического отделения областной больницы врач осмотрел Борю, померил давление и пульс, посветил в зрачки и пригнул несколько раз голову к груди. Стукнул молоточком по конечностям и велел медсестре коротко:

– Вызывайте Роман Евгеньича.

Потом обратился к Тане:

– Он откуда? Родные здесь?

– Я... – прошелестела Таня.

– Мать, отец? С кем можно переговорить?

Так и случилось, что пока через техникум – был субботний день, кое-как вызвонили секретаршу – нашли телефон Бориной матери, тот уже лежал на операционном столе, под ножом Романа Евгеньевича, и, как потом объясняли Сашиному деду, который через своих многочисленных знакомых из госпиталя ветеранов войны наводил справки, и хлопотал, и выяснял подробности, – повезло парню, крупно повезло! И что не умер по дороге еще, и что опытный невропатолог принимал и сразу поставил диагноз – что не банальное сотрясение, а кровоизлияние в мозг, требующее немедленного оперативного вмешательства; и что дежурил в этот день лучший, бесспорно лучший нейрохирург города, прошедший фронт врач Роман Евгеньевич.

Под бдительным присмотром Сашиного деда за Борисом неплохо ухаживали в палате на четверых, а когда приехала его мать, шумная, крупная женщина, которая выдавала коробки конфет нянечкам просто уже за то, что входили в палату, а всем, кто был чуть выше рангом, включая дежурных медсестер, совала пачки денег в карманы халатов, Борис приобрел в больнице статус особо важной персоны.

Жизнь его была уже вне опасности, и деятельность нервной системы восстанавливалась постепенно – в той нерушимой последовательности, с которой каждый человеческий детеныш, рожденный в этот мир, овладевает важнейшими функциями, не выучиваясь ходить прежде, чем встал, и не вставая, пока не перевернулся на бок. Было, однако, непонятно еще, насколько и как быстро вернутся к Борису речь и мыслительные процессы.

Мать Бориса, сидевшая в палате во время каждого обхода, усваивала медицинские термины быстро и, казалось, проходила ускоренный курс невропатологии, спрашивая деловито с акцентом:

– Как сегодня Бабинский? А глазное дно сегодня будем смотреть? Посмотрите, пожалуйста!

Она уже знала, что от резкого удара и падения у Бориса в головном мозге лопнуло сосудистое сплетение, от рождения там сидевшее, как неразорвавшаяся бомба в лесу со времен войны. Роман Евгеньевич объяснил ей, что большинство людей, рожденных с этим дефектом, не испытывают никаких симптомов и умирают по другой причине, никогда и не узнав, что всю жизнь носили в себе такую тикающую бомбу. Или умирают внезапно от массивного кровотечения в мозг, и – если не проводится вскрытие – их родные тоже остаются в неведении. Боря же попал в третью категорию: из-за предательского удара в голову, от которого любой другой молодой человек, возможно, заработал бы шишку, в крайнем случае – небольшое сотрясение мозга, Боря оказался на краю могилы...

Это до какой-то степени делало мать Бориса соучастницей трагедии наряду с тремя подонками, избившими ее единственного сына, и усугубляло ее горе. В преступный круг, безусловно, входила и бесцветная девица, которая непонятным образом сначала охмурила мальчика, потом затащила его в лес, где тупо стояла, пока его избивали, а теперь приходила иногда в больницу и сидела в палате, беззвучно плача.

Глубокой уже осенью мать Бориса увозила его домой. Ему теперь требовались заботливый уход и реабилитация, и оставаться в чужом городе смысла не имело. Мать шумно прощалась с медперсоналом, осыпая всех подарками и благодарностями.

В то же время поезд увозил Татьяну совсем в ином направлении – на проходящем Москва – Красноярск она уезжала в маленький сибирский городок, сбегая – навсегда – из кошмара последних месяцев.

Глава 3

Саша была знакома с вокзалами с раннего детства. Она обожала вокзалы. Вокзалы, как правило, означали праздник: сперва на вокзале встречали Сашину любимую тетку, мамину младшую сестру, возвращавшуюся на каникулы из Москвы, где она училась в университете; и даже когда провожали – все равно весело, в предвкушении новых встреч. Позднее провожали и встречали маму, которая ездила в Москву к научному руководителю по делам диссертации.

В город, где жила Саша, шел прямой поезд, что, конечно же, подчеркивало его (города) значимость; но расписание было такое, что прибывал он (поезд) ранним утром, еще до того как начинал ходить общественный транспорт. Поэтому дед ходил встречать дочерей пешком – от дома до вокзала было ходьбы минут сорок. Саша старалась увязаться за ним по двум причинам: во-первых, это несколько ускоряло встречу с любимым человеком, а во-вторых, наедине с дедом было очень здорово. Он рассказывал разные истории из жизни, как правило, поучительного характера, с выводом и моралью, но не скучные. Еще он давал Саше по ходу дела уроки математики. Сколько окон вон в том доме – да, красном, шестиэтажном, Саша начинала лихорадочно считать, а он не сбавлял широкого солдатского шага. Конечно, она сбивалась и ошибалась, а он, как ни в чем не бывало, сообщал: семьдесят два, – представляя перед первоклассницей только что не волшебником. Ты раньше сосчитал! – догадывалась Саша. Нет, только что, – и дед открывал Саше секреты белой магии: оказывается, помимо знакомых Саше сложения и вычитания, существовало еще одно весьма полезное арифметическое действие, которое позволяло, сосчитав окна в горизонтальном и вертикальном рядах, быстро установить их общее количество...

Или того хлеще: вот мы прошли десять метров по той улице, и свернув на эту, десять по ней... а если бы у нас была возможность срезать здесь угол, сколько метров пришлось бы пройти? Назовем такую вот воображаемую улицу гипотенузой... посчитать очень просто...

На обратном пути, уже все вместе, садились в первый троллейбус, начинавший движение как раз от вокзала и в такой ранний час совсем пустой.

Год был на исходе, наступили декабрьские холода, и началась подготовка к встрече Нового года. Даже для Сашиной мамы, которая по-прежнему ночами плакала от горя и одиночества, все-таки смерть мужа постепенно отодвигалась в прошлое; время лечит – жизнь, будни требовали своего. Новый год должен был, обязан был принести только светлое...

Отмечать планировали в два захода: приезжала из Москвы Эмма, Сашина молодая любимая тетка, которая торопилась потом вернуться, чтобы встретить собственно Новый год в студенческой компании. Поэтому сначала праздновали досрочно по-семейному, а потом уже планировался званый обед с приглашением друзей, ночным бдением и вкуснейшим меню, включающим жареного цыпленка под названием «Эскофье», торт-суфле и кофе с мороженым, которое бабуля называла «гляссе». Надо заметить, что даже в рамках этого собственно Нового года семья отмечала его дважды: сперва по местному времени, а через час по московскому, под бой курантов. В позапрошлом году именно это послужило для Саши причиной страшного фиаско: после наступления местного нового года Саша ужасно захотела спать и согласилась лечь только при условии, что за десять минут до московской полуночи ее непременно разбудят; каково же было ее разочарование, когда, проснувшись, она обнаружила, что за окном брезжит рассвет, стол завален грязной посудой, а взрослые посапывают в разнообразных позах. Мама и бабуля виновато объясняли потом, что Саша так сладко спала, что будить ее было просто невозможно. Но она была безутешна. Поэтому теперь Саша была полна решимости держаться и не позволить лживым обещаниям взрослых лишиться себя излюбленного праздника.

Была еще и третья часть программы: поход к подруге на день рождения. Та родилась тридцать первого декабря, а отмечала традиционно первого января. На день рождения обязательно устраивали детский концерт, со стихами и песнями под аккомпанемент бабушки именинницы, а также конкурсы, и катание на санках, и жжение бенгальских огней во дворе. А потом возвращались на домашние пельмени – вкусные безумно – и предоставлялся выбор, с чем же их кушать: со сметаной, майонезом или уксусом, – и было трудно выбрать, так как все варианты были – объединение. У Саши дома не лепили пельменей. Ее бабуля готовила замечательно, но специализировалась по блюдам-деликатесам, очень замысловатым, о чем свидетельствовали их иностранные названия среднего рода.

А потом, конечно, продолжались школьные каникулы, с походами на детские праздники, где выдавали подарки с мандаринками и шоколадными конфетами, с вечерними прогулками на площадь, где украшали могучую елку, устанавливали эстраду для представлений и ледяные сказочные фигуры, которые одновременно являлись и горками. В этом году, кстати, Кира водила Сашу смотреть на их ваяние и роспись: ее родители таким образом «забашляли», как она пояснила...

Словом, радости Сашиной не было предела, когда, предвкушая череду праздников, прекрасным зимним утром – еще совершенно черным, но уже очевидно прекрасным – она вскочила, будто и не спала вовсе, едва только дед дотронулся до ее плеча. Саша принялась натягивать приготовленные с вечера вещи, все бесконечные колготки, рейтузы, кофты, и наконец, нахлобучив на голову шапку, прыснула по короткой лесенке во двор. Фигура деда уже возвышалась на фоне темного неба, он взял Сашу за руку, и они пошли по утопанной среди сугробов дорожке. Было в этом походе нечто приключенческое, авантюрное, и Саша почувствовала, как накрывает ее с головой волна счастья – ожидание чуда, волшебное уже само по себе.

Дед шагал по скрипучему снегу уверенной солдатской походкой. К шестидесяти, совершенно лысый, но без единой морщины, рослый для своего поколения, могучего телосложения, для Саши он был дед, деда Ноня, – а на самом-то деле красивый мужик в расцвете сил, в свое время просто неотразимый, судя по послевоенным фотографиям. Он никогда не болел, даже не простужался, и вдруг пришел с одной из своих обязательных медицинских проверок с диагнозом: сахарный диабет. Все очень расстроились, но выяснилось, что диабет мягкий – «первой степени», говорил дед, – и даже лекарств не требует, достаточно диеты. Зато благодаря этому первостепенному заболеванию дед стал получать специальные талоны на продукты, недоступные здоровому населению, например гречку. Возможно, диагноз ради этого и был поставлен неким знакомым эскулапом из военного госпиталя – за ответные услуги или просто по дружбе.

Связи Наума Леонидовича были бесконечны, они оплетали город замысловатой сетью взаимных услуг и обменов натуральным продуктом. Целая армия рукастых работяг в любой момент готова была прийти на помощь за бутылку водки или банку тушенки. Впрочем, нищих учительниц, коллег жены, и солдатиков-сверхсрочников он опекал без всякой для себя выгоды.

Сашины дед и бабуля были одесситами, и, когда дед окончил службу, он хотел вернуться на родину, откуда шестнадцатилетним мальчишкой эвакуировался со своей артиллерийской школой в Ташкент и где погибли его родители, брат и сестра. Однако шли годы, повседневная жизнь предлагала разнообразные испытания, серьезные и не очень, но в равной степени требующие внимания, и переезд все откладывался по причине более насущных дел, пока семья окончательно не осела в провинциальном среднерусском городке. Лишь изредка Саша слышала дедово «вот в Одессе» – следом шла какая-нибудь, как дед говорил, «майса», по содержанию которой невозможно было понять, пересказывает ли он Бабеля или вспоминает нечто, случившееся с ним самим; бабуля в ответ глубоко вздыхала: «Одесса уже давно не та», – и опять было не ясно, жалеет ли она об ушедшем городе детства, или удовлетворенно ратифицирует факт своего туда невозвращения.

Саша с дедом приблизились к заснеженному перрону. Вокзал в этот час был пуст, одинокие фигуры темнели там и тут. Несколько фонарей освещали платформу и небольшое двухэтажное здание вокзала. Саша принялась вытягивать шею, вглядываясь в ночь, откуда вот-вот должны были показаться сначала круглый светящийся глаз, а следом змеевидное туловище поезда. По громкоговорителю раздался монотонный женский голос, и Саша не могла разобрать, что же объявляют. Наконец, на перроне началось осязаемое оживление, народу сразу прибыло, и дед, взяв Сашу за руку, пошел куда-то в сторону.

– На третью подают сегодня! – бросила пробежавшая мимо женщина.

Дед и Саша шли быстро, как и большинство людей вокруг, а некоторые даже бежали.

– Странно, – сказал дед скорее в воздух, чем обращаясь к Саше, – первый раз вижу, чтобы московский не на первую подавали.

Они по мостику прошли вглубь вокзала, и дед, каким-то только ему известным способом прикинув, где остановится нужный ему девятый вагон, нашел место среди встречающих. Люди были оживлены, переговаривались, посмеивались. Мигали огоньки сигарет, и мужчины прикуривали друг у друга. Кто-то недоуменно поинтересовался, почему московский поезд подают не на первую платформу, но люди только пожимали плечами, никто не знал.

Ожидание несколько затянулось, но, наконец, раздался резкий гудок, и немигающий магический глаз показался вдали и, приблизившись, быстро вырос. Колеса стучали медленнее и медленнее, как все сильнее заедающая пластинка. Отфыркиваясь, поезд остановился. Саша обнаружила себя ровнехонько напротив девятого вагона, дверь которого распахнулась, и проводница в форменной одежде и шапке-ушанке ловкими движениями вытерла поручни и опрокинула металлическую площадку. В предбаннике вагона уже маячили молодые веселые лица – из Москвы на каникулы возвращались студенты, – и кто-то подпрыгивал, подтягивался на цыпочках от нетерпения под неодобрительным взглядом проводницы. Эммы не было среди счастливых молодых людей, которые тут же принялись спрыгивать в объятия не менее счастливых родителей. Дед стоял чуть в стороне, неподвижно, и Саша видела, что лицо его уже начало суроветь: он всегда придавал огромное значение внешним выражениям любви, требовал от дочерей и внучек поцелуев и объятий, и его самолюбие страдало от того, что люди вокруг догадывались, как, возможно, вовсе не горячо младшая дочь этого серьезного мужчины любит его.

Люди между тем продолжали тянуться. Схлынула волна молодежи, начали выходить командированные с тяжеленными чемоданами, нагруженными покупками, главным образом, столичными продуктами. Даже запахи появились новые: чуть уловимый аромат копченой колбасы и – дурманящий – бананов и апельсинов. Эти пассажиры выглядели озабоченно. Встречающие одаривали их короткими поцелуями и деловито помогали вытаскивать багаж. И среди этих Эммы не было.

На перроне все шумели и суетились, но толпа заметно поредела. Из плацкартных вагонов людей выходило больше, и выглядели они попроще: бабушки в серых шерстяных платках и темных драповых пальто, с узлами в руках вместо аккуратных чемоданов. Этим никто не встречал, они перебирались с железнодорожного вокзала на автобусные станции и ехали вглубь огромной области, в свои более чем провинциальные – провинцией был Сашин город, – почти несуществующие городки и деревушки, обозначенные точками на карте в краеведческом музее. Были и мужчины, немолодые, невысокого роста, но женщины преобладали значительно.

Из купейного девятого, похоже, вышли все. После некоторого перерыва появилась молодая пара. Муж тащил чемоданы, а жена несла на руках заспанного ребенка. Их встречала пожилая ярко накрашенная дама, которая выхватила малыша из рук матери и стала шумно целовать его, оставляя на щеках следы багровой помады. Они быстро ушли с платформы. Саша начала скучать и замерзать, и уже пританцовывала на месте.

– Ну ты подумай, – с досадой говорил дед, – она спала до Мотыгина, как всегда! Последний раз встречаю... Какая неорганизованность! Почему надо жить в вечном цейтноте? Сейчас уже поезд на запасные пути оттащат, а ее все нет.

Можно было бы, конечно, подняться в вагон и поискать Эмму, но дед полагал это ниже своего достоинства. Саша бы даже не удивилась, если бы он резко развернулся на каблуке своего безукоризненно начищенного сапога и ушел бы вовсе с перрона – пусть не уважающая его дочь мечется одна с чемоданами, ищет его, а он будет из глубины зала ожидания наблюдать за ней, попивая крепкий чай, – возможно, это будет ей уроком, ведь уже говорено было раньше, что за штуки заставлять его ждать на морозе...

Сзади послышался звук подъезжающей машины. Саша обернулась и увидела тормозящий рядом газик, из которого тут же выскочил солдат-шофер и – с пассажирского сиденья – молодежавый офицер.

– Деда, смотри, майор кого-то встречает, – сказала Саша, щеголяя знанием офицерских погон (на самом деле повезло, майорские погоны были самыми простыми, их Саша запомнила давно, а дальше дело не шло). Но дед не обратил внимания на познания внучки, он заинтересовался происходящим на перроне. Из десятого вагона выпрыгнул другой военный, тоже молодежавого вида, но с большим количеством звездочек, достаточным, чтобы звание его не поддавалось идентификации. Офицеры обменялись приветствиями, хорошо знакомыми Саше по походам в дедову часть, и несколькими неразборчивыми репликами. Один из офицеров сказал что-то проводнице, та кивнула и ушла вглубь вагона. Майор махнул рукой, и шофер залез обратно в газик и осторожными короткими движениями начал подгонять машину к распахнутой двери вагона. Дед смотрел на происходящее внимательно, а когда несколько солдат стали выносить из вагона и грузить в машину продолговатые ящики – их можно было видеть лишь долю секунды, поскольку газик стоял почти вплотную к поезду, – он крепко взял Сашу за руку и направился к майору, курившему сигарету и наблюдавшему за работой солдат.

– Полковник Гринберг, – представился дед, отдавая честь. – Кто? – он подбородком указал на ящики.

– Майор Безбородых. Не слышали, товарищ полковник?

Дед не ответил, продолжая вопросительно смотреть на майора.

Тот бросил сигарету на снег, затоптал огонек носком сапога и приглушенно сказал:

– В московском метро, на станции Измайловская, позавчера были взрывы. Несколько десятков погибших, сотни раненых. Среди погибших – трое наших земляков. За покупками ездили, – он зло сплюнул и растер ногой на снегу толстый серый плевок.

– Неисправность в метрополитене? – спросил дед.

– Да нет, товарищ полковник, – он помолчал и отрывисто бросил в воздух незнакомое слово, – теракт.

– У нас? Терроризм? – произнес дед тихо, и в голосе его звучало потрясение такое глубокое, что было оно ощутимо даже в сдержанности полушепота. – Каковы же мотивы? Что эти подонки требуют?

– Пока неизвестно. Органы, конечно, разберутся, кого надо к стенке поставят, а вот жизни уже не вернуть. Ну а мы, видите, товарищ полковник, как всегда, брошены на самую грязную работу, – он кивнул в сторону солдат, закончивших погрузку. – Только непонятно, почему у нас все – военная тайна. Наоборот, надо же всю страну на уши поставить, пусть каждый малец, каждая собака ищет!

Саша не совсем понимала, что сделали эти ужасные преступники и о чем так жарко говорит майор, но на кратчайшее мгновение ее воображение унеслось в опасное будущее, в котором она, первоклассница, отслеживает небритого мужчину подозрительного вида и, сжимая в кулаке монетку, бежит к телефону-автомату, набирать спасительное 02.

– Нет, майор, ты не прав, – возразил дед, и Саша вынырнула из своих героических мыслей. – Пока не разобрались, нечего людей волновать, сеять панику...

Тут откуда-то сзади раздался звонкий любимый голос:

– Папа!

Дед обернулся, и Эмма прыгнула ему на шею. Саша думала, что дед начнет ей пенять на запоздалый выход из поезда, но он, удивительно, прижал ее к себе крепко и, забыв о своих недавних угрозах, долго целовал ее в красивое светящееся лицо.

– Папа, папа, ну ты как Брежнев, ей-богу, хватит уже. Пойдем, я хочу познакомить тебя со своим... женихом.

Только совсем крошечная пауза повисла перед словом «жених», а лицо Эммы оставалось светлым и безмятежным.

Около чемодана Эммы стоял парень, очень симпатичный, с чуть раскосыми глазами, и почему-то в одном свитере, без верхней одежды и без шапки. Правда, шея его была обмотана длинным полосатым шарфом, и на руках были теплые рукавицы.

Саша видела, что дед просто остолбенел, шокированный несанкционированным приездом молодого человека, которого к тому же вот так запросто Эмма назвала своим женихом. В семье лишь она была способна на подобные выходки, лишь она, поздний ребенок, когда дед сердился, не застывала под его гневным взглядом, как кролик перед удавом, а подходила и говорила, как только что: «Ну, папа, ну перестань...»

Парень протянул деду руку, и Саша почему-то ожидала, что дед отдаст ему честь, но дед ответил рукопожатием.

– Полковник Гринберг, – представился дед и под внимательным взглядом Эммы добавил, – Наум Леонидович.

– Здравствуйте, Наум Леонидович, – улыбаясь, сказал Эммин жених, пожимая дедову руку и отчетливо выговаривая все многочисленные звуки его длинного имени. – Меня зовут Виктор.

Эмма смотрела на него светящимся взглядом.

– А где твоё пальто, Виктор? – строго спросил дед.

– У меня нет пальто. Вы знаете, в Москве совершенно нет необходимости тратиться на пальто. На Западе, знаете, некоторые ученые начали осторожно высказывать опасения по поводу глобального потепления, которое грозит нашей планете в будущем, тогда как в Москве, по-моему, оно уже наступило. Влияние Гольфстрима, а также миллионы людей и единиц транспорта поднимают температуру этого города на несколько градусов по Цельсию, по сравнению с другими населенными пунктами, расположенными на той же широте. И потом, знаете, метро...

– Метро? – переспросил дед и положил руку на плечо Эммы. Та удивленно подняла на него глаза.

– Разумеется, Москву человек может пересечь во всех направлениях, ни разу не поднявшись на поверхность земли. Спрашивается, зачем человеку пальто? Это атавизм в городе будущего.

Дед выслушал эту тираду, глядя Виктору в глаза, и очень снисходительно и дружелюбно, как Саше показалось, произнес:

– Послушай, человек, в городе будущего ты хоть в скафандре ходи, а в данный момент времени ты в тысяче верст на северо-восток от такового, так что шутки отставить, если не хочешь в будущем стать музейной реликвией вроде замороженного мамонта. Ладно, найдем тебе куртку, – дед еще раз обнял Эмму и добавил, назвав ее детским именем: – Муся, хорошо, что ты приехала, доченька... мама заждалась...

Виктор оказался удивительный. У него была совершенно необыкновенная профессия – физик-ядерщик. Саша не понимала, что это значит. Виктор объяснял терпеливо, и Саша умно кивала, пытаясь ему понравиться. Дед тоже подробно расспрашивал Виктора о работе. Выяснилось, что тот окончил МГУ и «прохлаждается» в Черногоровке, научном городке неподалеку от Москвы.

Что значит «прохлаждается»? Да всякое-разное, помогает другу с кое-какими расчетами, ничего существенного. Это официальная работа, на ставку? Нет, по дружбе. А на что он живет? А как же пробел в трудовой книжке? Вопросы деда были скрупулезны, и он задавал их основательно, полноправно: если этот собирается стать мужем его дочери, он должен твердо стоять на ногах.

Финансы не проблема. Живет в общежитии для молодых ученых, расходы близки к нулю: кухня практически общая, а что еще надо?

Все ж таки должен быть какой-то доход?

Окей, окей (словечко было незнакомое, Виктор его часто употреблял, и стало понятно, что оно означает «хорошо», «нормально») – он откроет тайну, чтоб не думали, будто он ограбил Федеральный банк (он так и сказал – «Федеральный»): несколько месяцев назад его научно-популярный очерк по вопросам ядерной физики опубликовали в журнале «Наука и жизнь» и заплатили такую кругленькую сумму, что можно целый год жить безбедно. Благодаря этому удалось немного приодеться: на Викторе и правда были удивительные штаны – джинсы. Он перехватил ироничный взгляд деда и взглядом же и ответил – извините, что пальто не попало в список необходимых тряпок. Еще сходили с ребятами в турпоход в горы, поднялись на Эльбрус... Так ты занимаешься альпинизмом? Постольку-поскольку, по-дилетантски, но участвовал в командных соревнованиях как-то, по классу высотных восхождений...

– Этого нам еще не хватало! – воскликнул дед.

– Согласитесь, так лучше, чем от водки и от простуд, – заметил Виктор с улыбкой, и дед посмотрел на него странно. – Это цитата, – пояснил он, но дед не спросил, откуда.

А чем он еще увлекается? Книжки, конечно, в основном научная фантастика, главным образом переводная, и, разумеется, театр – за прошлый сезон они с Эммой пересмотрели всю Таганку и всю Сатиру...

– Папа, сколько можно? – возмущенно сказала Эмма в защиту Виктора, терпеливо отвечавшего на вопросы деда. – Ты допрос устроил – КГБ отдыхает!

– Ну, в самом деле, – вступилась бабуля, – прекрати.

– Ничего-ничего, – неожиданно заступился за деда Виктор, – я не возражаю, у меня, как говорится, секретов нет. И потом, я очень хочу стать счастливым обладателем руки вашей дочери.

– Понятное дело, – вздохнул дед, поднимаясь с дивана, – сердцем ты уже завладел...

После обеда сходили на горки, захватив с собой Киру, и Виктор показал восхищенным девочкам класс катания: он выезжал из пасти дракона или ступы Бабы-Яги на ногах, чуть наклонившись вперед и балансируя всем своим ловким телом, а потом привлек окружающую детвору к езде цугом, при которой нужно было положить руки на пояс или плечи друг друга.

Узнав, что Кира учится в английской школе, он стал называть ее «янг леди», и Кира призналась, что еще не проходила в школе таких слов. Виктор охотно пояснил их значение.

– А что еще вы знаете в английском? – спросила восхищенная Кира.

– Во-первых, не в английском, а по-английски – на родном языке надо говорить безукоризненно. А во-вторых, я знаю по-английски... да все! Хочешь поупражняться? – предложил Виктор.

И он начал произносить короткие фразы на непонятном языке, и хотя Кира тоже мало что понимала, Саша ужасно ревновала, потому что все-таки иногда подруга могла ответить односложно, она же совсем осталась в стороне.

В конце концов, Виктор сказал:

– You are so cold, young lady! Why don't you take my mittens, – и отдал Кире свои большие толстые варежки, поскольку ее голые руки, как обычно, торчали из рукавов коротковатой шубейки. На голове, впрочем, красовалась одна из ее неповторимых узорчатых шапочек. Кира последнее время все чаще бродила по двору после школы одна, со скучающим и безразличным видом, даже в самую неподходящую погоду, и буркала в ответ на расспросы, что дома делать нечего, и руки ее были вечно покрыты красными цыпками.

Саша мысленно пристыдила себя за недостойное чувство ревности по отношению к подруге.

По-декабрьски рано стемнело, зажглись на площади фонари. Заснеженный фонтан белел и искрился посреди площади на небольшом возвышении, и от него разбежались во все стороны узенькие накатанные ледяные дорожки, проложенные среди утоптанного снега. Становилось все чернее и холоднее, и детей вокруг стало меньше, зато прибыло молодежи, и много было выпивших, которые выделялись неестественно громкими голосами и шаткими походками. Все чаще крепкий неприятный запах ощущался в морозном воздухе, в котором до сих пор преобладал терпкий аромат растущих на площади могучих елей. Кто-то скатился по ледяной дорожке от фонтана, рухнул и остался лежать, не замечаемый прохожими.

Все равно было очень весело, но Кира вдруг сказала:

– Хватит, я замерзла, пошли, – и все направились домой.

После вечернего чая и еще каких-то дел и разговоров разошлись по комнатам. Эмму положили с мамой в зале, а Виктору поставили раскладушку в комнате Саши и Сони. Дом постепенно затихал, явственнее стали слышны тиканье часов и поскрипывание рам на морозе, и Саша беззвучно лежала в кровати, привычно вызывая перед тогда уже близорукими глазами веселые образы прошедшего дня, которые, один за другим, сплющивались в золотистые полоски и крошились мелкими осколками, когда Эмма в широком халате летучей мышью впорхнула в комнату и присела на край раскладушки. Скрипнули пружины. Вдохнула и перевернулась во сне Сонечка.

– Вит, любимый, прости, – зашептала Эмма. – Это мои родители, папа просто невыносим... У тебя железное терпение, как ты выдержал этот допрос...

– Эмка, солнышко, перестань, они просто нормальные совки. Мы отработали номер, послезавтра уже домой, ноу проблем.

– Ты молодец, Вит, что все так воспринял, но я вся кипела! Спрашивать – тебя! – про трудовую книжку! Надо было сказать ему, что тебя сам Сахаров знает и уважает. Вот в таком мещанстве я всю жизнь прожила, представь...

– Легко представляю. Иди, солнышко, спать, потом обсудим, глаза закрываются... И девиц разбудим.

Еще раз скрипнула раскладушка, и Эмма растворилась в темноте дверного проема. Кажется, Виктор уснул в то же мгновение, поскольку звуков более не последовало.

Глава 4

Таня не покончила с собой. Она не сошла с ума. Она и не уехала в никуда, как предполагали соседи: под Красноярском жила ее дальняя родственница, одинокая женщина, с которой Таня познакомилась на деревенской свадьбе еще каких-то родственников пару лет назад. Понравившись друг другу, они обменивались редкими письмами, и теперь, когда хотелось пропасть из жизни, где каждый, если не спросит, то обязательно посмотрит с выражением соболезнования – и любопытства – на лице, – городок в нескольких днях пути казался спасительным островом. Нет, Таня не купила билет на проходящий поезд и не появилась зимним утром на пороге чужого дома непрошенным гостем; она отправила телеграмму, получив односложное, экономное «Приезжай», и тогда лишь уехала, провожаемая на вокзале плачущей в голос мать.

После нескольких дней пути в плацкартном вагоне, где даже подавленного горем человека жизнь распахивает, встрясает, напомнит о себе самым что ни на есть неделикатным образом – запахами немытого человеческого тела и нестиранной одежды, вкусом еды, порой не свежей, детским плачем, – Таня сошла, наконец, на перроне маленького городка.

Родственница приветливо замахала рукой в вязаной рукавице и, поймав Таню в объятия, по-свойски похлопала ее по спине. Родственницу звали запоминающимся именем Валерия, она никогда не была замужем и работала инженером на заводе. Собственно, это все, что Таня знала о Валерии, за исключением факта эфемерного с нею родства: та приходилась приемной дочерью племянницы Таниной деревенской бабки по матери. У бабкиного брата, давно спившегося и много ее старше, была дочь, которая вышла замуж за вдовца с двумя детьми, одним из которых была Лера. Такими неисповедимыми путями Таня оказалась соседкой Леры по столу на свадьбе другой внучки Таниной бабки, дочери, соответственно, Таниного дяди. Вся эта замысловатая генеалогия, безусловно, не давала права Тане свалиться на голову Лере, если бы не завязавшийся тогда посреди застолья быстрый разговор, взаимная симпатия и следом – обмен адресами.

– Разведутся, – убежденно прокричала Лера в ухо соседки среди шума пьяных голосов и громохатания музыки.

– Что? – Тане показалось, что она не расслышала.

– Зуб даю, разведутся, – весело повторила Лера. Была она тогда для Тани еще не Лерой, а симпатичной теткой с короткой стрижкой и в толстых роговых очках, которая то и дело убежала в коридор клуба покурить.

– Почему это? – обиделась Таня за молодоженов, как раз поднимавшихся в ответ на очередное требовательное «горько!».

– Ну, во-первых, в наше время предсказывать развод – это все равно что предсказывать пол ребенка до рождения – пятьдесят процентов заранее гарантированы, – пояснила соседка. – Во-вторых, молодые, знаешь, где жить будут? С родителями жениха! – самый гиблый вариант. Вот тебе еще двадцать процентов. А в-третьих, в нашем роду счастливых баб пока не бывало – это еще двадцать...

– Это все-таки девяносто получается, – неуверенно сосчитала Таня.

– Правильно. А почему? Потому что есть ма-а-аленький шанс, что любовь преодолет все преграды. Такой шанс есть. Но он очень маленький. Ну пошли, подергаемся!

Таня решила, что Лера шутит, но разговор задержался в памяти, и последующие наблюдения заставили Таню убедиться в правоте новой знакомой. Вокруг просто катастрофически не наблюдалось счастливых семей. Танина мама была в разводе. Родственники и знакомые вокруг или развелись, или находились в процессе развода, или просто ненавидели друг друга,

сохраняя видимость брака. Мужчины пили, женщины плакали. Были редкие семьи, которые, казалось, жили хорошо, как, например, Танины соседи, Раиса Семеновна и Наум Леонидович. Мать как-то обмолвилась, что они не русские, и Таня очень удивилась, поскольку те не были похожи ни на узкоглазых татар, каких в городе было множество, ни на приезжих кавказцев, торговавших на местном рынке цветами и фруктами. Никаких других нерусских Таня не знала.

Вскоре после переезда, за вечерним чаем, Таня напомнила Лере познакомивший их разговор и поделилась личными наблюдениями и неясными ей самой мыслями.

– А знаешь, почему? – у Леры на все был ответ. – Никто так не пострадал от геноцида последних десятилетий, как русский народ. Революция, Гражданская война, коллективизация, переселения, чистки; а потом Великая Отечественная; а это миллионы жизней! – и каких – лучших! – самых работающих, умных, смелых. И в основном мужиков. А потом просто нищета и безысходность, и народ от этого спивается. И опять прежде всего мужик. Нет, Таня, людей вокруг, чтоб нормальные семьи создавать.

Тут Лера прервалась, увидев Танины расширенные глаза.

– Да ты, как и все, ничего не знаешь, не понимаешь. Русский народ в двадцатом веке пережил – и переживает! – катастрофу похлеще той, от которой евреи в Великую Отечественную пострадали! – Лера опять остановила сама себя, внимательно посмотрев на сконфуженную Таню. – Я тебя, беднягу, совсем заморочила. Хочешь, дам кой-чего почитать? Только помалкивай в тряпочку, а то мало не покажется.

– Откуда ты все это взяла? – выдавила Таня растерянно и слегка раздраженно.

– Я, Танюша, в Москве училась, встречала там умных людей. Есть люди, которые знают, – Лера произнесла последнее слово с особенной значительностью.

– А может, болтовня?

– А вот считаешь. Ты пей чаечек-то, пей, он с лимончиком, приятный, помогает, небось...

Таня подняла на Леру и без того вечно наполненные влагой глаза, и в чашку чая быстро закапали крупные градины слез. Собственно, в глубине души она знала с первых дней приезда, что Лера разгадала ее незамысловатую тайну.

– Ладно, колись, подруга, я тебя давно вычислила, – сказала Лера. – Вижу, мучаешься, партизанка, пробираешься, как вор, в туалет по утрам, блюешь там и глушишь сама себя, как «Голос Америки»... Мать тоже не знает?

Таня печально покачала головой.

– Срок какой?

– Почти три месяца...

– Ого! Значит, оставляешь?

Таня разрыдалась. Она не желала этого ребенка. И первого аборта она не боялась, убежденная, что после случившегося не быть ей замужем и матерью не быть, но, борясь с токсикозом, продолжала прятать голову в песок. Теперь, несмотря на слезы, она была рада, что Лера озвучила свое открытие, неизбежное раньше или позже, и, со свойственной ей ясностью взглядов и готовностью высказать мнение по любому вопросу, решит все за Таню.

– Не знаю...

– Во дает! Еще немного – и уже было бы неважно, знаешь ты или не знаешь. Аборты до двенадцати недель делают! Так, завтра идем в женскую консультацию получать направление. Когда у тебя последние месячные были?

Таня назвала число, и Лера схватилась за голову.

– Сумасшедшая! Значит, скажешь, допустим, третьего октября, запомнила?

На следующий же день через знакомую Лера организовала Тане прием в женской консультации, несмотря на отсутствие прописки, и еще через два дня Таня стояла перед дверью приемной гинекологического отделения городской больницы.

Больница была новая, недавно отстроенная, но акушерство и гинекологию оставили в старом деревянном здании, через двор от основного корпуса. Главным хлебом здесь были аборт: как правило, назначалась одна плановая утренняя операция и родильное порой пустовало, но конвейер аборт был налажен, делали по пять-шесть в день. Так как обезболивание не являлось частью процедуры, ценилась наряду, конечно, с качеством, и быстрота. Непревзойденным асом здесь считался Сан Саныч, который в тот день и был на абортах, о чем Лера каким-то образом была осведомлена, и неслучайно пристроила Таню именно сегодня.

Таня с бланком направления робко вошла в приемный покой, где пожилая медсестра в валенках задала ей несколько вопросов и измерила температуру. В углу жарко топилась печка, поленница дров лежала рядом, и тут же стояла ширма, за которой велено было раздеваться. Тане выдали халатик, застиранный настолько, что нельзя уже было разобрать рисунок ткани. Пуговицы отсутствовали, и дали веревку подвязаться. Другая дверь приемного покоя выходила в коридор, Таня вышла туда, и ей указали на лавочку у стены, где сидели уже две женщины. Одна, совсем юная, моложе Тани, смотрела в пол и шевелила губами, как будто читала молитву, другая, наоборот, вида очень пожилого, сидела с безразличным видом и – неожиданно – вязала. Она, казалось, годилась Тане в бабушки, и это было странно и неуместно здесь, но именно она, очевидно, чувствовала себя по-свойски. Прошедшая мимо нянечка ей кивнула.

Между тем из-за двери доносились неопределенные звуки. Таня долго прислушивалась, и не столько из-за приглушенности музыки, сколько из недоверия не сразу разобрала, что это пел один из популярных итальянцев.

Музыка вдруг прервалась, дверь открылась. Стремительно вышел длинный худой мужчина с черными волосами, стянутыми на затылке в хвостик. Он был без халата, в майке-безрукавке, и его тощие руки покрывали татуировки. Он нес на плече магнитофон-двухкассетник (Таня видела такой лишь однажды, в гостях) и в другой руке пачку сигарет. Заметив пожилую на скамейке, он приостановился:

– Опять скребемся, Антонина Пална? Это который раз?

– Кто ж это считает, Сан Саныч? С вами, поди, второй десяток, а до вас еще покойная Ольга Владимировна делала, пусть земля ей будет пухом. А самый первый раз я подпольно, еще до указа.

– Ну-ну. А божьего суда не боитесь?

Антонина Пална залилась смехом, явно сочтя слова Сан Саныча за удачную шутку.

– А сами-то, сами сколько душ загубили? Мне за вами не угнаться.

Сан Саныч оскалится, показав желтые зубы курильщика.

– Готовьте следующую, буду через пару минут, – сказал он в дверной проем и разболтанной походочкой направился к выходу.

– Ты иди, иди, – подтолкнула Антонина Павловна молоденькую соседку, – лиха беда начало.

Девчонка медленно встала и сделала несколько робких шагов в сторону полуоткрытой двери.

– Ну куда! – раздался из-за двери возмущенный голос. – Сиди, пока не вызвали.

Совсем уже не понимая, сидеть ей все-таки или идти, девчонка растерянно оглянулась на Антонину Павловну, которая явно казалась ей авторитетом.

– И правильно, – заметила та, продолжая постукивать спицами. – Порядок должен быть. Пока не позвали – сиди! – и вдруг добавило коротко и злобно, – Дура, а туда же...

Но Таня этих последних слов почти не разобрала. Она удалялась по тоскливому желтому коридору, унося свое едва заметно округлившееся пузо от врача-хиппи и медсестер, чьи лица она не успела увидеть, а только услышала суровые голоса, но более всего – от страшного слова

«скрестись», тут же в Танином воображении шлепнувшись на старую чугунную сковородку подгоревшим куском рыбы, который мать бросилась соскребать металлической лопаткой.

Сан Саныч прошел в ординаторскую, опустился на стул, отодвинул груды бумаг в сторону и поставил магнитофон на освободившееся место перед собой. Нетерпеливо похлопал себя по карманам брюк в поисках зажигалки. Зажигалка не нашлась, но нашелся ключ от ящика письменного стола, и Сан Саныч, раздраженно перетасовав его содержимое и отбросив в сторону многочисленные предметы – презервативы, жвачки и шариковые ручки, нашел, наконец, спичечный коробок и удовлетворенно закурил. Он откинулся на спинку стула и вытянул ноги, хрустнув суставами. Прикрыл глаза, но, вспомнив о чем-то, потянулся к магнитофону и переключил его на радио, быстро настроив на нужную волну. Время шло к одиннадцати, Сан Санычу были гарантированы несколько минут одиночества: у одного из коллег был операционный день, он не появится до обеда, а другая еще утром, сразу после обхода, объявила, что уйдет в больничную библиотеку повышать квалификацию – значит, поскакала по магазинам. Сан Саныч покрутил ручку магнитофона, уменьшая звук, и стал прислушиваться к прерывистому и трескучему голосу.

Заканчивали читать главу из «Архипелага Гулага». Сан Саныч решил дождаться новостей, которые должны были начаться вот-вот. Можно задержаться дольше, чем на обещанные «пару минут», осталось по списку всего три аборта, но, похоже, одна из девиц сбежала – он успел увидеть краем глаза, как она поднялась и уходила по коридору, и вдруг сообразил – не Валерии ли эта протезе? Душещипательную историю рассказала ему Валерия про свою компаньонку... Голос диктора перебил его мысли. Сан Саныч прислушался.

«В московском метро осуществлена серия террористических актов. Бомбы были взорваны на перегоне между станциями «Измайловская» и «Первомайская»...», – помехи прервали знакомый голос ведущего, Сан Саныч прижал ухо к магнитофону, но не смог разобрать следующие несколько фраз. Вдруг несколько понятных слов вынырнули в эфире: «...армянские националисты, но есть основания полагать, что следствие умышленно фальсифицирует факты, возможно пытаюсь...» – опять обидный треск заглушил информацию – «...националистические и диссидентские движения в Советском Союзе».

Сан Саныч выключил радио. Если все представители так называемых «националистических» и «диссидентских» движений такие же нытики и словоблуды, с какими ему приходилось сталкиваться, то – к счастью – сомнительно, что они способны на подобные действия. Наверняка это провокация КГБ, очередной способ расправиться с инакомыслящими. Эта мерзкая стареющая власть уже не в состоянии пожирать людей просто так, без повода, она ищет оправданий, которые и преподносят ей ее верные слуги-гэбисты... Конечно, на убийство людей могли пойти только они...

Он вдруг понял, что не прозвучало число жертв, а он и не задумался сразу, сколько людей погибло во имя идеи – чьей бы то ни было. Врачи видят смерть так часто, подумалось ему, что она становится обыденной и закономерной частью жизни; тут же он свои жалкие мысли оборвал: это для него прерванная жизнь стала закономерностью, ежедневным однообразным трудом.

Он направился обратно в абортарий.

В работе Сан Саныч был виртуозом, и женщины состоятельные и со связями стремились попасть на операции именно к нему. Он же вел в больнице курсы повышения квалификации – обучал врачей из глубинки своему мастерству, и здесь был популярен: не раздражался за операционным столом и не повышал голос на бестолковых учеников. Он работал очень много, брал ночные дежурства, праздники и выходные. Но работа была для него лишь средством к существованию, а не страстью, как ошибочно мог бы подумать сторонний наблюдатель, окажись такой в операционной в тот момент, когда своими паучьими пальцами он уверенно сжимал

скальпель и делал первый разрез – он освоил передовой метод низкой лунообразной инцизии над лобком, оставлявшей впоследствии тоненький шрам, который легко было спрятать под трусами, вместо общепринятого центрального.

И женщины не были его страстью, как мог бы решить другой сторонний наблюдатель, случайно углядевший набор презервативов в запирающемся на ключик ящичке стола в ординаторской. Он и использовал ночные дежурства, бывало, не по назначению; правда, все реже ему хотелось случайной любви на рабочем месте с тех пор, как он познакомился с Валерией.

И музыка была для него лишь способом времяпрепровождения. Он достал каким-то образом, через одну из благодарных пациенток, магнитофон-двухкассетник и пополнял свою фонотеку сомнительной западной музыкой, включая ее даже во время операций, на что закрывали глаза – а точнее, уши – и заотделением, немолодая озабоченная женщина, вечно бегающая с авоськами, и главврач, вовсе предпенсионного возраста, пьющий мужик.

Его страстью были книги самиздата. Связи его охватывали всю страну: поездами привозили из обеих российских столиц запрещенные самодельные книги, он организовывал их распечатку, под его чутким руководством многочисленные копии появлялись на свет и начинали свой путь дальше, на восток необъятной страны. Это и было тем, чему он отдавался без остатка с тех пор, как пожилой преподаватель кафедры хирургии Томского мединститута и бывший зэк Роман Евгеньевич посвятил его в тайну существования подпольной литературы.

Имена и адреса он держал в голове, ни разу не предав их бумаге. Он не сомневался в своей памяти, натренированной зубрежкой анатомии и гистологии. Было, однако, кое-что еще, выпестованное, вынянченное до четкости фотографических образов. Настоящих снимков не делали, и позволь он подробностям размыться, потерять ясность очертаний – и не у кого будет спросить, справиться, бабки и многих других свидетелей уже не осталось. Ему же было шесть, когда произошло то, что он впоследствии восстанавливал по осколкам-черепкам детской памяти, что выводывал-выспрашивал у бабки и на что потом науськивал себя, будто снова и снова надавливал на мучительный нарыв, – великое переселение.

Было ли то, что он помнил, скрипом старых качелей во дворе или лязгом грузовиков, резко затормозивших на темной дорожке у дома? Почему на высокой ноте завьела бабка, как будто была готова, будто знала, что произойдет? Детское разочарование: такое прежде желанно-загадочное путешествие на поезде оказалось мучительной, голодной, бесконечной дорогой в забитой людьми теплушке, где причитают женщины и плачут дети, и он, вопреки наказу, который дал ему отец, уходя на фронт, начинает всхлипывать, размазывая слезы по грязным щекам. И привычные родные горы за крошечным зарешеченным окном сменяются плоской землей, над которой ветер гонит рваные серые облака. А потом на одной из станций под нескончаемый вой женщин из вагона выносят неподвижного одноногого соседа, накрыв его с головой серой тряпкой.

– Запиши. Ты обязан это записать, – говорил ему Роман Евгеньевич, хирург и бывший зэк.

Но не получалось, сколько раз Сан Саныч не садился с блокнотом и ручкой – не мог оставить на бумаге ни единого слова и с еще большим ожесточением и азартом собирал, размножал и распространял чужие откровения.

Глава 5

Кира взлетела на четвертый этаж, перепрыгивая через одну, а то и через две ступеньки. Зима кончалась. То есть формально зима кончилась больше месяца назад, однако только сейчас снег, наконец, спрессовался в мокрые колючие кучи грязно-серого цвета и повсюду слышалось капание воды, а порой с крыши срывалась и гулко летела вниз целая сосулька. Ходить в это время года рекомендовалось подальше от стен домов из-за этих предательских сосулек.

Кира отперла дверь и, не раздеваясь, пробежала на кухню. Зажгла конфорку, налила воды в кастрюлю, поставила ее на огонь, и тогда уже, вернувшись в прихожую, скинула сапоги, шапку, пальто.

– Кирочка? – раздался из комнаты тягучий голос матери.

Кира просунула голову в дверной проем. Мать сидела на низеньком деревянном стульчике, перед ней стояла рама с натянутым куском ткани, и мать водила по ней большой остроконечной кисточкой.

– Нин, папа приходил? – спросила Кира.

– Нет, доченька, – нараспев ответила мать.

– Звонил?

– И не звонил.

– Все как обычно, – сокрушенно покачала головой Кира. – В прошлый раз обещал – больше не повторится... обманывал?!

Мать не ответила, продолжая касаться кисточкой шелка, на ярко-синем фоне которого появлялись неясные пока очертания. В комнате стояли резкие, но не противные запахи красок, клея, спирта. На подоконнике сушились кисти разных размеров. Громоздилась среди комнаты гладильная доска. Законченные работы висели на бельевой веревке, натянутой по диагонали комнаты: куски шелка, расписанные сказочными цветами и птицами.

Кира ушла на кухню бросать в закипающую воду макароны.

Нина есть отказалась, и Кира пообедала в одиночестве. Отца все не было, он ушел на работу в художественное училище вчера утром и домой не приходил с тех пор. Кира побродила по квартире. Надо было бы сесть за уроки, особенно за английский, но настроение было паршивое. Несколько раз она заглядывала в комнату к матери: та продолжала работать. Кира порисовала без особой охоты в альбоме: отец недавно достал модные фломастеры, набор из двенадцати штук, все разных цветов. «Уступаю грубой силе, – сказал отец, бросив плоскую коробочку через стол онемевшей от счастья дочери. – Но знай, Кирия, что это презренный инструмент, недостойный руки художника».

Начинало смеркаться, и Нина бросила кисточку, закурила сигарету. Она работала только при дневном свете.

Кира просунула голову в дверь:

– Мам, поешь.

– Доченька, я не голодная, – сказала Нина.

– На, на, – Кира настойчиво сунула матери ломоть черного хлеба.

Нина покачала головой, но взяла хлеб с грустной улыбкой:

– Что бы я без тебя делала?

Она опустила кусок хлеба в стоявшую здесь почему-то солонку. Пожевала.

– Давай макарон тебе разогрею? – предложила Кира.

– Не хочу, Кируся...

Обе помолчали, пригорюнившись. За окном совсем почернело, несколько тусклых звезд появилось в небе.

– Мама, ты очень, очень красивая, – сказала Кира и добавила со вздохом, – Я, наверное, такая не буду, у меня нос картошкой...

– Кируся, глупенькая, – усмехнулась Нина, – будешь еще какой красавицей, вот увидишь. Лицо – это тебе не нос плюс глаза плюс брови и еще что-то, это сочетание всех черточек в одно гармоничное целое. Нос может быть хоть картошкой, хоть уточкой, но в правильном окружении... да какая-то картошка, к чертовой матери! – она сама себя перебила. – Это ж надо такое придумать! Сейчас...

Она встала, потянувшись за книжкой в стеллаже, заполненном литературой по изобразительному искусству, видимо, намереваясь продемонстрировать дочери разновидности носов, но в этот момент за стенкой раздалось еле уловимое поскрипывание. Обе затихли, прислушиваясь.

Скрип повторился, и зашуршали, открываясь, деревянно-веревочные шторы. Отец просунул в комнату бородатое лицо и, боком, боком, несмело вошел в комнату. Кира кинулась было к нему навстречу, но, увидев окаменевшую фигуру матери, остановилась на полпути.

– Нинок, Кируся, девочки, – отец переминался на пороге комнаты, понурил голову, не решаясь поднять глаза на суровую Нину, замершую с книгой в руке. – Чижики мои, я так виноват перед вами... Я выпил... опять.

– Ты? Выпил? – воскликнула Нина с горечью и всплеснула руками. Она помолчала, пытаясь вернуться к своей обычной сдержанной манере говорить, и добавила, отчеканивая каждое слово: – Ты – алкоголик. Ты понимаешь? Тривиальный алкоголик. Ты продолжаешь упиваться, как последняя мразь, и, спасибо, хоть не являешься больше перед дочерью в таком виде.

– Нина, я обещаю, я клянусь, – начал отец, пытаясь приблизиться к матери, но та выставила вперед прямую руку и помотала головой. Отец остался на пороге, переводя глаза на Киру в поисках поддержки. Та угрюмо стояла в углу комнаты, не глядя на отца.

– Я не желаю больше тебе верить, – продолжила Нина. – Я достаточно слышала обещаний, ты клялся уже всем, что тебе дорого или было когда-то дорого, что все! Никогда! Больше! – голос ее прервался, она упала в кресло, закрыла лицо руками.

Кира подбежала к матери, обняла ее.

Отец стоял растерянно на пороге, и все молчали.

Нина, наконец, подняла голову, посмотрев на мужа сухими глазами.

– Уходи, – сказала она твердо.

– Нина, родная, подожди, не говори так, – в его голосе прорывались рыдания, он опустился на колени и пополз к жене, схватил ее за ноги, прижался к ним лбом, и плечи его затряслись. – Нина, я слаболоен, я противен сам себе, но я знаю, я могу... могу... ради тебя! Ради Киры! Я люблю вас!

Заплакала и Кира в голос, вторя отцу:

– Мамочка, прости папу, он больше не будет пить!

Так они застыли втроем в полутемной комнате: женщина в кресле, с глазами сухими и печальными, девочка, прикинув к ее груди, и мужчина – в ногах, с трясущейся от рыданий спиной.

Прошло несколько долгих минут.

– Я устала, – сказала Нина, поднимаясь и стряхивая с себя обоих.

Две пары испуганных глаз смотрели на нее с почти одинаковым выражением мольбы.

Ближе к весенним каникулам настроение у Киры явно улучшилось, и она снова стала приглашать Сашу в гости в свой необыкновенный беспорядочный дом. Как-то после субботнего школьного дня, короткого – всего-навсего четыре урока, – Саша заскочила домой, бросила в коридоре портфель и побежала к Кире, огибая ручейки и речки, которые после снежной зимы превратили двор в мутно-серое месиво.

Кира, в школьном форменном платье, уже рисовала в альбоме своими удивительными фломастерами. Саша страшно завидовала Кире, обладательнице этого волшебства, которым, насколько она знала, владела еще только одна девочка, маленькая и незаметная троечница из параллельного класса. Саша ее вежливо презирала – за тройки и за модные канцтовары, привозимые, как шептались, дядей из Прибалтики.

Кира вырисовывала желтую корону на волосах принцессы.

Все Сашины подружки в ту пору рисовали принцесс: существ с продолговатыми лицами, огромными синими глазами, маленькими носиками и пухлыми губами. Их миниатюрные головки сидели на тоненьких шейках; дальше полагалось нанести штрихи ключиц и обозначить округлость плеч. Пышная прическа увенчивалась бантом или короной.

Киркины принцессы по сравнению с Сашиными были красавицами; в отличие от Сашиных, чьи плоские непропорциональные лица вызывали сострадание, эти, казалось, готовы были в любую минуту шагнуть с листа бумаги. Саша даже просила Киру обязательно рисовать глаза в последнюю очередь, потому что ей представлялось, будто, как только глаза будут нарисованы, принцесса тут же оживет, оставшись без какой-либо части тела.

Саша полюбовалась на Кирину принцессу и посоветовала сделать ей чуть потолще брови.

– Нет, модно ниточкой, – возразила Кира, бережно вкрапляя рубины и изумруды в корону принцессы.

Саша так увлеклась этим процессом, что не заметила, как в комнату вошел отец Киры.

– Так... – протянул он, глядя на альбомный лист.

Он возвышался над девочками, покручивая короткую бородку.

– Нравится? – спросила Кира заискивающе.

– Ну как тебе сказать. Есть над чем работать.

Он взял карандаш, чистый лист бумаги и сел, склонившись над столом.

– Значит, рисуем портрет, – бросил он в пространство, не глядя на девочек. – Голова – это только видимая сложность, на самом деле – если действовать последовательно и логически – все элементарно. Вот рисуем базовую форму; делим ее на две части горизонтальной линией и на две – вертикальной. Глаза будут опираться на горизонтальную линию – значит, располагаем их точно в центре овала. Рисуя нос, обратите внимание, что ширина его там, где ноздри, равна ширине между глазами. Брови и верхний край уха находятся на одной высоте, а нижний край уха – чуть ниже кончика носа.

Он быстрыми движениями наносил линии на бумагу, и хотя действия свои он сопровождал простыми словами, то, что появлялось под его карандашом, казалось чудом. Тонкие живые линии ложились на белый лист: веки обрамили открытый глаз, следом второй, коротенькие полосочки обозначили реснички. Все было идеально симметрично, и все же правый глаз, казалось, еле заметно подрагивал, готовый в любой момент подмигнуть, а левый смотрел строго вперед. Губы изогнулись в улыбке, обнажая зубы, чуть неровные, остренькие, и щербинка вписалась в верхний ряд.

– Теперь нанесем тени. Структура носа, в особенности, требует подробного изучения его составных частей, которые подчеркиваются именно правильным сочетанием теней. Все сосредотачивают свои усилия на рисовании глаз, тогда как нос – это даже более сложная единица. Вот сейчас мы затемним здесь, у кончика носа, и чуть с боков – и вот он округлился, приобрел эдакую характерность – боевой носик получился.

Саша и Кира вместе охнули: с карандашного рисунка, набросанного за несколько минут без единого взгляда на дочь, смотрела живая и веселая Кирка. Все особенности ее лица были выписаны точно: большие ясные глаза, азиатские скулы, ямочка на подбородке. И нос, прямой и аккуратный почти до самого кончика, где он вдруг утолщался, по словам самой Киры, «в картофелину».

– Дядя Володя, вы настоящий художник! – воскликнула Саша.

– Папа что угодно может нарисовать, – горделиво подтвердила Кира.

– А лошадь можете? – Саша, помимо принцесс, пыталась рисовать животных, и лошадь казалась ей высшим пилотажем.

Он взял кусок картона, длинный треугольник, явно обрезок, случайно попавшийся под руку, и теми же скользящими движениями набросал вставшего на дыбы скакуна, с развевающейся гривой и пышным хвостом, с блестящими глазами и ощерившейся пастью. Видимо, форма картонки мгновенно подсказала ему идею именно такого коня, которого можно было расположить по вертикали: задние ноги заняли нижний угол треугольника, а голова со вздыбленными передними копытами – противоположную грань.

Онемевшая от восторга, смотрела Саша на чудесного зверя, сотворенного на ее глазах. Она вдруг ощутила безумную к себе жалость, осознав, что никогда, ни за что не сумеет приблизиться к подобной власти над миром, когда все, что у тебя есть – это кусок картона, чудом не угодивший в мусорную корзину, и огрызок карандаша, – а через минуту созданный тобою шедевр уже лежит перед тобою как ни в чем не бывало.

Но если уж Саша сама не была способна на подобное, то был бы у нее хотя бы такой вот отец, который по ее личному самодурному хотению и только для нее творил бы день и ночь новые и новые творения... Чувство это пронзило Сашу остро и мгновенно, и у нее даже защипало в носу. Впрочем, слезы были бы нелепы и неуместны, и объяснить их причину было бы невозможно; и Саша предпочла сдержаться.

Кира сказала:

– Чур, мой портрет! А Саша пусть берет лошадь!

И Сашу дележ устроил.

Пожалуй, дядю Володю она больше не видела... А может, в ту субботу он и его произведения запомнились ей настолько, что ни одно последующее впечатление не могло оставить большой след. Хотя, казалось бы, сообщение о его смерти обязано было заслонить все остальные воспоминания, с ним связанные, тем более что он погиб так неожиданно и даже загадочно. Наверняка Саша слышала толки и пересуды, поскольку долго еще во дворе продолжали шептаться, обсуждая событие и предлагая различные версии. Говорили, что дядя Володя напился – и добавляли «как всегда», к Шашиному недоумению, поскольку она не помнила его пьяным, – и явился домой, к Нине, у которой – говорили – «лопнуло терпение» – тоже непонятно для Саши, поскольку ей жизнь Кириной семьи казалась сказочной идиллией. Нина не пустила его в квартиру, и он остался сидеть на лестничной площадке.

В этом месте рассказа часто комментировали, пригорюнившись:

– Не по-женски поступила, и не по-русски...

И кто-то обязательно заступался за Нину:

– Если и была за ней вина какая, давно уже своим горем ее искупила.

Под утро дядю Володю нашли мертвым на ступеньках, с разбитым затылком. Говорили, что вроде бы рана была не столь существенна, и не будь он пьян, или нашлись бы свидетели его падения, – он мог бы и выжить.

Но Саша знала все это лишь по обрывкам взрослых разговоров. Зато много лет спустя, как вчера, она могла воспроизвести в памяти облик чернобородого мужчины с веселыми, чуть раскосыми, как у Киры, глазами, который небрежно набрасывает на куске картона буйного коня, штрих за штрихом, пока конь, вздыбленный, быющий в воздухе копытами, не оживает перед замороженной Сашей, уносясь в небытие, вслед за своим творцом, которого он пережил ненадолго, оказавшись, по всей видимости, в макулатуре во время летних больших уборок...

Глава 6

Таня возвращалась к жизни. Прошли, как страшный сон, и безрадостная беременность, и пытка и унижение родов («Давай, давай, – кричала акушерка, – не ори, а тужься – ребенка ляжками задавишь!»), и смятение, хаос, бессонница первых недель дома.

Таня оказалась совершенно не готова к материнству. Она и не подозревала, что маленький человечек может доставлять столько хлопот. Ночью он требовал кушать каждые два часа, и Таня вылезала из-под одеяла с каждым разом все более и более тяжело, раздирая свинцовые веки. Помимо усталости, мучила и боль – сначала внизу живота волнами подкатывали спазмы и саднили швы в промежности; постепенно эти ощущения сменились новыми: образовались трещины на сосках, тугих, не приспособленных к воинственному ротику младенца. Теперь перед каждым кормлением Таня готовилась к сильнейшим болям, предсказуемость которых заставляла ее замирать от страха еще прежде, чем крошечный мучитель вгрызлся в израненную плоть. Тот же долго чмокал с закрытыми глазками и только иногда бросал на мать внимательный и как будто оценивающий взгляд. Однажды, закончив кормление, Таня обнаружила, что губы ребенка измазаны в крови. В ужасе она кинулась в комнату к Лере и принялась ее тормошить. Была глубокая ночь, и Лера долго и недовольно бормотала, не желая просыпаться. Разобравшись, в чем дело, она посмотрела на сладко посапывающего малыша, потом – насмешливо – на Таню и велела показать грудь: из свежей трещины на соске сочилась кровь.

– Дурында, ты что же человека будишь из-за всякой ерунды? – набросилась Лера на Таню, но та сияла теперь, утирая быстрые слезы. – Иди вот, ставь чайник, мне не уснуть, а тебе не дадут... и ребенка положи, в кровать положи, хоть ему-то спать не мешай.

Она взяла малыша из рук Тани, положила его в кроватку и обратилась к нему серьезным шепотом:

– Спи, Давид, спи, заяц, – Таня уже знала, что Лера не сюсюкает и не меняет голоса, разговаривая с ребенком.

Непривычным именем мальчика назвали по настоянию Леры; Таня вяло отбивалась, но не могла отказать подруге, которая столько для нее сделала.

Вскоре они уже сидели на кухне, в едва запахнутых халатиках. Лера курила, отгоняя дым от Тани, и втолковывала ей хрипловатым голосом:

– Татьяна, пора взрослеть. Возьми себя в руки, в конце концов, ты же матерью стала. Ходишь по квартире целый день, как россомаха с титьками, плачешь, за ребенком едва ходить успеваешь. Бабы семью тянут, и работают, и дитя кормят. Знаешь, в деревнях как? Родила, а жизнь не останавливается: если зубы на полку не хочешь складывать – паши!

– Лера, откуда ты все знаешь? – спросила Таня, продолжая сиять высохшими уже глазами. – Что бы я без тебя делала?

– Ты дурында, Танька... Я в нищете росла, за племянниками ходила, потом в общаге столько лет жила, одна в незнакомом городе. Ты вот записала себя в несчастные, полагаешь, жизнь тебя обидела, а ты оглянись по сторонам – сколько людей больных, одиноких. А ты молодая, здоровая, все при тебе, и даже сынулю себе заимела.

После этого ночного разговора Таня и почувствовала, что выходит из ступора. Теперь она старалась организовать свой день так, чтобы к приходу Леры сготовить ужин, а днем взяла за правило обязательно выходить на прогулку, чтобы ребенок дышал свежим воздухом. У малыша налаживался сон, и у Тани даже появилось свободное время. Она стала читать. Лера не забыла тот зимний разговор и, верная своему слову, приносила Тане книги.

Книги были необыкновенные. Отпечатанные на машинке листы, и часто даже не оригиналы, а карбоновые копии, в которые иногда приходилось всматриваться, чтобы разобрать слово-другое, а порой с сожалением читать дальше, догадываясь о пропущенном по контексту,

они были серыми, шероховатыми, с вкраплениями древесной стружки, или тонкими, прозрачными. Листы скреплялись доморощенным переплетом или были просто вложены в папку.

– Ты ни с кем об этих книжках не болтай, поняла? – грозно сказала Лера.

– Лера, да я никого не знаю здесь, сижу дома с ребенком...

– Вот и сиди. А когда гулять ходишь, мамаш с колясками встречаешь – молчи. Если, конечно, не хочешь, чтоб ребенок сиротой рос.

Таня не хотела. И ради чего? Книжки были хоть и секретные, но непонятные и скучные – заумные, думала Таня, но не делилась с Лерой своим мнением, боясь обидеть. Вдруг попались стихи.

Не поцеловались – приложились.
Не проговорили – продохнули.
Может быть – Вы на земле не жили.
Может быть – висел лишь плащ на стуле.

Может быть – давно под камнем плоским
Успокоился ваш нежный возраст.
Я себя почувствовала воском:
Маленькой покойницею в розах.

От этих слов у Тани закружилась голова. Она любила поэзию и многое из школьной программы помнила наизусть. В голове прочно засели необходимые строки из Пушкина и из Лермонтова; помнились Есенин, и Маяковский, и... собственно, все. Она знала еще несколько имен второстепенных поэтов, на чьих плечах стояли четыре гиганта, что олицетворяли русскую поэзию, но не могла даже вообразить, что под пеной этого гениального официоза плескались тихие воды других стихов – и каких!

Теперь она просила Леру приносить стихи. Та скептически пожимала плечами.

– Ты просто прячешь голову в песок, ты не хочешь открыть глаза и увидеть, какая действительность тебя окружает, в каком вранье мы живем! – сердилась она, но приносила новые и новые серые листы, узнаваемые еще до прочтения по столбцам коротких строчек, обрывающихся на середине листа.

Она читала Цветаеву, узнавая свои мысли и чувства, которые сама была не в состоянии выразить. К одной из распечаток была приложена краткая биография Цветаевой, и Таня читала ее и плакала, вдруг в состоянии расшифровать истинное значение иных строк.

Она попыталась поделиться с Лерой своими открытиями, но та пришла в негодование.

– Да понимаешь ли ты, через что вся страна тогда проходила! Нет таких стихов, чтобы это описать... Тебе, дорогая, чтобы хоть что-то понять, сначала надо узнать биографию своей собственной страны, а не биографию поэтессы! Знаешь, как мы с тобой породнились? Мне был год, когда мать забрали...

– Забрали? – ужаснулась Таня.

– Да – посадили, репрессировали, как врага народа. И не спрашивай, пожалуйста, за что, а то я тебя убью, честное слово. Отец со мной и трехлетним братом помыкался и послал матери развод. Повезло нам – если бы он от жены не отрекся, сел бы тоже, и отправили бы нас в интернат для детей врагов народа. Отец женился снова – не одному же детей растить! – на племяннице твоей бабки. Потом воевал, конечно, – за Родину, за Сталина, который его жену на каторгу отправил, пока мать – приемная – нас в голоде-холоде тянула. Это еще что! Ты Сан Саныча помнишь? – Таня вздрогнула. – Он – из переселенных ингушей. Сталин ведь товарищ с размахом был, он целыми народами наказывал. Во время войны ингушей и чеченов, пока их же папашки на фронте воевали, посадили в эшелоны и перевезли из их аулов в Казахстан. Потом

простили, разрешили вернуться, но кто и остался, обрусел. Сан Саныч вот в Томске мед окончил.

Лера вдруг улыбнулась, прервав себя.

– Я ему, Тань, твою историю рассказала. Он говорит – передай, говорит, Танюхе, пусть парня бережет, он джигитом станет...

Сан Саныч стоял на платформе, встречая поезд из Питера. Везли очередную партию самиздата: несколько последних номеров «Хроники текущих событий» и свеженапечатанные книги. Поезд привычно опаздывал. Сан Саныч стоял, лениво покуривая, и читал местную газетенку. Краем глаза он давно ловил на себе бросаемые исподтишка взгляды. Стараясь не показать, что он заметил необычное внимание к себе, Сан Саныч скосил глаза на мужичка, который проявлял к нему такой интерес. Потом прогулочным шагом он направился к табло на стене здания вокзала, поизучал его нарочито пристально и, вернувшись к путям, выбрал место подальше от любопытного товарища. Тот, впрочем, как-то постепенно притираясь к Сан Санычу, в течение нескольких минут опять оказался поблизости. Это беспокоило и раздражало. Если этот тип из КГБ, то он крайне непрофессионален, подумал Сан Саныч; читали, читали и мы детективные романы: в первое такси не садись и так далее, и раскусить подобного горе-наблюдателя нам – фунт изюма. Софья Власьевна уже стара и теряет вкус к шпионским играм, хотя, если поймает за хвост, то мало не покажется, так что задаваться все же не стоит...

– Извините, пожалуйста, за беспокойство, – услышал Сан Саныч робкий голос шпиона.

– Чем обязан? – по-старомодному ответил Сан Саныч, скрывая за иронией напряжение.

– Вы случайно не доктор из городской? Из женского отделения?

– Да, я работаю в городской больнице, – сдержанно ответил Сан Саныч, внутренне ликуя, что, похоже, обошлось; к тому, что его нет-нет да узнают на улицах и в общественном транспорте маленького города, он был привычен.

– Доктор, я хочу поклониться вам в ноги, – неожиданно всхлипнув, сказал мужчина, и было ощущение, что он и впрямь сейчас припадет к ногам Сан Саныча и придется на глазах у недоумевающей публики поднимать его с земли. Мужичок все же остался стоять. – Ведь вы спасли мою дочь.

– Спасибо за добрые слова, – сухо ответил Сан Саныч. – Это моя работа.

– Я понимаю, понимаю, вы привыкли... Но если бы не вы... Моя дочь – Ленуся Сапожникова, помните?

Сан Саныч помнил толстую девицу, которая поступила в его отделение с тубоовариальным абсцессом. Он прооперировал ее, оставив дренажную трубку в животе, и бедняга потом долго лежала в больнице, выводя трели на каждой перевязке оперным голосом так, что весь персонал и все пациенты знали расписание ее процедур. Кроме того, во время перевязок она ругалась многоэтажным качественным матом, и Сан Саныч только удивлялся, откуда молоденькая девушка так грамотно умеет материться. Старшая сестра усмехнулась, когда он поделился с ней своим недоумением: «Ну вы даете, Сан Саныч! Не слышали разве? Она прости-тутка, мужиков за деньги домой водит». «Она что, одна живет? Ей семнадцать», – возразил Сан Саныч, листая историю Елены Сапожниковой. «С отцом она живет. Тот или на все глаза закрывает, или, того хуже, сам – ее сводник», – пояснила сестра.

Сан Саныч вздохнул с облегчением, когда шумная пациентка наконец выписалась, посоветовав ей на последнем обходе избегать частой смены половых партнеров. Ленуся покраснела, закатила глаза и пропела своим медовым голосом, что она – девушка и вообще не понимает, о чем Сан Саныч говорит. Старшая сестра лишь сурово поджала губы.

Теперь отец Сапожников стоял напротив, глядя на него слезящимися глазами, и Сан Саныч подумал: а может, сплетни? Вот стоит перед ним человек как человек, невзрачный, незапоминающийся и уж точно не злодейского вида. Люди сплетничают, распространяют слухи,

делают далеко идущие выводы весьма охотно. Сан Саныч на личном опыте знал, как умеют люди домысливать: когда в свое время, много лет назад, он был женат, медсестры обсуждали его развод еще до того, как таковой действительно состоялся; до того, собственно, как сам Сан Саныч задумался о его неизбежности. Что интересно, и является пищей для размышлений, это факт того, что медсестры оказались правы, и Сан Саныч действительно расстался с женой. Может, дошедший до него невзначай шепоток подал ему идею, заставил понять, что ведь, и впрямь, брак не приносит ему – и жене – счастья. Он представил, как победоносно, должно быть, звучало «что я вам говорила, девочки» в устах какой-либо из всезнающих дам...

– Да, да, Лену я помню, – ответил Сан Саныч рассеянно. – Надеюсь, у нее все в порядке, – и он пожалел, что современный гардероб не предполагает шляпы, которую вот сейчас бы поднять с выражением холодной приветливости, давая собеседнику понять, что разговор завершен.

– Все в порядке, доктор! – обрадованно закивал отец Сапожников и бросился рассказывать Сан Санычу о том, что Ленуся совершенно здорова и заканчивает профессионально-техническое училище (он так и сказал, подробно, расшифровав общеизвестную аббревиатуру, видимо, полагая, что таким образом придаст, в общем, не самому престижному учебному заведению особую значимость). Сан Саныч стоял с кислым видом, подбадривая себя недавно услышанным анекдотом, который рассказал ему коллега, бездарный хирург, но хохмач и добряк: «Как дела? – Вы действительно хотите знать? Тогда начну с анализов...»

Послышался свисток приближающегося поезда.

– Пойду, всего доброго, – сказал Сан Саныч и зашагал по перрону своим широким цаплеобразным шагом, но неутомимый Сапожников засеменял вдогонку, продолжая рассказывать Сан Санычу, как воодушевилась Ленуся своим больничным опытом, и вот хочет тоже быть медиком, почему и пошла в профессионально-техническое училище, учиться на лаборанта.

– Вы, доктор, встречаете кого? – поинтересовался Сапожников. Сан Саныч вдруг узнал интонации своей пациентки в медовой сладости его голоса, и ему стало не по себе от этой фальши: а что если папаша здесь неспроста? Вдруг по-прежнему не только бдительны, но и изобретательны власти, которых до сих пор ему удавалось водить за нос? Ему хотелось послать подальше благодарного родственника, но он решил, что правильнее сдержаться и не проявлять беспокойства.

– А вы, товарищ, здесь какими судьбами? – ответил вопросом на вопрос Сан Саныч.

– Я-то? Работаем здесь помаленьку, одно-другое, – неопределенно ответил Сапожников. – Вам, Сан Саныч, если чего когда надо – обращайтесь, вам помочь всегда готов.

Было неясно, чем же он может помочь Сан Санычу, но оставить его в покое он явно не желал.

Поезд тем временем притормаживал, и Сан Саныч совершенно не понимал, как быть. Вот-вот из вагона выйдет нагруженный чемоданами Леня, поставщик книг, а Сапожников все продолжает стоять рядом и не собирается уходить, и не выкидывать же его с платформы за шкирку.

– Ну, не буду вас задерживать, раз вы здесь на службе, – произнес Сан Саныч, многозначительно четко выговаривая слова.

Из вагона уже выходили люди. Поезд был проходящий, стоял на станции минут сорок, и многие приезжие оставались на перроне размяться и подышать свежим воздухом, а другие бежали на станцию за газеткой или едой. Местных встречали, но их было немного. Человек, которого ждал Сан Саныч, заканчивал путь в этом городке, вручив часть своего груза на предыдущих остановках. Система была отработана: он ехал к Сан Санычу домой, отдавал ему остатки литературы, мылся и отсыпался в течение ближайших трех дней, после чего отправлялся обратно тем же поездом, но в другом вагоне, дабы не вызывать подозрения у проводницы своим скорым возвращением.

В дверях показался Леонид, налегке, с небольшим саквояжем. Видно, оставил основной груз в вагоне, что было необычно, но кстати на этот раз. Сан Саныч преувеличенно радостно развел в стороны руки и направился навстречу Лене, молодому человеку с редющим венчиком волос и в толстых очках.

– Ну здравствуй, друг, ну, с приездом! – громко начал Сан Саныч, обнимая несколько растерянного Леню, не привыкшего к подобной встрече. Сан Саныч прижал его к себе быстрым движением, ощутив запах пота от немывтого грузного тела, и взглядом велел подыгрывать себе.

– Здравствуйте, Алекс, – ответил Леонид. Сан Саныч никогда не представлялся подобным образом, но Леня упорно называл его так, на столично-заграничный манер, и Сан Саныч его не поправлял. Леонид продолжал стоять на платформе, переминаясь с ноги на ногу, и Сан Саныч смотрел на него вопросительно и недоуменно, не понимая, в чем причина замешательства: встречи их были налажены и, как правило, проходили без сучка без задоринки. Все сегодня шло не по плану.

– Пойдем, дружище, помогу шмотки вытащить, – громко предложил Сан Саныч.

– Алекс, я без вещей, – возразил Леонид, – я тут с товарищем на сей раз...

Сан Саныч боковым зрением все видел трущегося рядом Сапожникова, и его странное навязчивое поведение тревожило больше и больше. Теперь ситуация еще осложнялась: очевидно, что-то произошло в пути или перед отправкой, из-за чего Леонид не привез книги; может быть, ему пришлось от них избавиться... И кто этот неожиданный попутчик? Как бы то ни было, надо было продолжать спектакль для одного зрителя, и оставалось лишь надеяться, что Леонид догадается Сан Саныча поддержать.

Сан Саныч изобразил веселое неудовольствие и даже театрально погрозил Леониду пальцем.

– Ребята, ну вы даете! Предупреждать надо заранее! Я, видишь ли, жду гостинцев из северной столицы, а на мою голову не один, а целых два студента являются.

– Каких... – начал Леонид, но замолчал, вдруг поняв причину странного поведения Сан Саныча. – Извините, Алекс, в последний момент на кафедре произошло недоразумение, пришлось материалы оставить пока. А вот и ваш второй ученик...

В дверном проеме вагона возникла тощая фигура. Приятель Леонида был не просто худ, он казался истощенным, брюки висели на бедрах, поддерживаемые ремнем, который, похоже, был закручен вокруг талии дважды. Рубашка была заправлена в брюки, но тут и там выбивалась наружу. За плечами болтался полупустой походный рюкзак. Все же самой запоминающейся его чертой была нависающая над бегающими глазами одностворчатая бровь. Несмотря на вид человека, готового в любой момент ссыпаться горкой костей, он довольно бодро прыгнул на платформу, протянул Сан Санычу руку и заговорил сильным голосом, в котором Сан Саныч тут же узнал легкий кавказский акцент:

– Здравствуйте, рад, наконец, познакомиться, много о вас наслышан, буду счастлив, наконец, ознакомиться с вашей передовой методикой, – он продолжал быстро и уверенно нести какую-то нелепицу, в которой многократно повторялись слова «рад» и «наконец».

Сан Саныч пожал руку незнакомца, поймав его взгляд и прочитав спрятанные глубоко – отчаяние? Панику? С диагнозом приходилось пока повременить.

Втроем они быстро зашагали по направлению к автобусной остановке, и Сан Санычу все казалось, что мерзкий Сапожников провожает их внимательным взглядом.

До дома добирались молча, перекидываясь малозначимыми фразами. Оказавшись в квартире, Сан Саныч остановился в узкой прихожей, прислонился к стене и закурил. Леонид тут же закашлялся, а его спутник жадно потянулся за сигаретой, но Сан Саныч спрятал пачку в карман. Он стоял, меряя двоих взглядом и продолжая молчать.

– Алекс, тут такое дело, – начал Леонид, но Сан Саныч резко его прервал:

– Меня зовут Сан Саныч. Можно Саша, если хотите.

– Извините, – Леонид покачал из стороны в сторону большой лысой головой. – Я понимаю, вы рассержены, мы свалились вам на голову без предупреждения, не привезли книги. . .

– Перестаньте, – опять отрезал Сан Саныч. – Не ходите вокруг да около. Кто этот человек?

– Он. . . его необходимо спрятать. Он находится в розыске. Он меняет адреса в течение многих месяцев. Его последняя квартира провалена, ему пришлось бежать, и мы пытаемся переправить его на восток.

– Душещипательная история, – сквозь зубы процедил Сан Саныч. – А товарищ умеет разговаривать? Я убедился на вокзале, что умеет. Так может, он сам расскажет, почему это он бежит по стране как заяц? Раз уж он полагает, что я готов прятать его у себя?

– Ваге, – взмолился Леонид, – рассказывай.

Тот продолжал молчать.

Сан Саныч смял сигарету в хрустальной пепельнице на трюмо в коридоре.

– Что же, аудиенция окончена. Все свободны.

Леонид схватил Сан Саныча за плечи.

– Пожалуйста, подождите, он сейчас все объяснит, – плаксивым голосом заговорил Леонид. – Ваге, перестань себя вести, будто все тебе обязаны. Мы все подвергаемся риску, укрывая тебя, ты прекрасно понимаешь это.

Ваге продолжал молчать. Он стоял прямо и неподвижно, поджав тонкие губы, высокомерно и презрительно глядя на Леонида.

Леонид махнул рукой в отчаянии.

– Я не собираюсь – не собираюсь, слышишь? – искать тебе новое убежище. Если тебя выгонят и отсюда, – голос его по-петушиному сорвался.

Ваге надменно усмехнулся и впервые с тех пор, как трое вошли в квартиру, соизволил процедить сквозь плотно сжатые губы:

– Я хочу увидеть, как меня будут выгонять. Может, вызовете милицию?

И он по-шутовски изогнулся к Сан Санычу, переломив пополам стебель тощего тела так, что, казалось, он уже не сможет вернуться в вертикальное положение.

Леонид застонал, а Сан Саныч дико загоготал, обнажая крупные зубы. Тут же он оборвал смех и, прижав Ваге к стене прихожей длинной жилистой рукой, сказал спокойно:

– Ты и впрямь полагаешь, что мне потребуется милиция, дабы выставить тебя на лестничную площадку?

Он, конечно, блефовал, понимая, что, скорее всего, столкновение с папашей Сапожниковым не было случайным и за ним ведется наблюдение, а значит, прогнать сейчас этого сопляка – которого он только что сердечно встречал на вокзале – было невозможно. Осознавал ли это сам пришелец? Наметанным глазом диагноста Сан Саныч видел, что его непрощенный гость, со всем своим наглым шутовским поведением и горящими безысходностью глазами, – загнанный зверь, которому нечего терять.

– Слушай меня. Сейчас Леонид поведает, что ты натворил, и я приму решение, останешься ли ты на моей квартире.

– Можно я сяду? – взмолился толстый Леня.

Они прошли на кухню. Сан Саныч снова закурил.

В телеграфном стиле Леня отбарабанил историю Ваге, ни разу не подняв глаза и не встретившись взглядом с Сан Санычем. Ваге состоял в нелегальной армянской националистической организации, целью которой являлось создание независимой Армении. Группа проводила активную подпольную агитационную деятельность, держала свою типографию. В конце прошлого года три товарища Ваге совершили теракт в Москве – подложили бомбы на станциях московского метрополитена. В результате взрывов погибли люди. В течение нескольких меся-

цев на след бойцов (Леня сказал – «бойцов», и Сан Саныч поморщился) вышли, все трое были схвачены и находились под следствием, а тем временем арестовали других членов «Национальной объединенной партии Армении», как они себя называли. Ваге, который не имел отношения к теракту, как подчеркнул Леонид, удалось скрыться, и он скитался по квартирам диссидентов и сочувствующих, пробираясь на восток в надежде выбраться из страны.

– Все ясно. Твои сообщники уничтожили ни в чем не повинных людей, – сказал Сан Саныч.

Ваге сидел, повесив голову, тощие руки распластав по столешнице – они были такие длинные, что пальцами он охватывал противоположную сторону стола.

– В этой стране нет невинных людей. Все, кто довольствуются существующим положением вещей и не принимают участие в борьбе, в одной связке с преступным государством.

– Я только хочу напомнить тебе... что это государство, которое ты ненавидишь, было создано теми же террористическими методами; хороших вы выбрали себе учителей! – медленно произнес Сан Саныч. – Это они первые решили, что возможно наказывать людей не по принципу их индивидуальной вины, а потому, что они принадлежат к группе, которая признана виновной, и значит, человек виноват самим фактом принадлежности к ней.

– В процессе борьбы потери неизбежны. И те, кто стал жертвой борьбы – герои такие же, как те, кто эту борьбу активно ведет. А вашими книжонками не добиться свободы! – Ваге опять театрально искривился, всем своим видом выражая презрение к собеседнику.

– То есть ты – вы – решили за других людей, что они будут умирать за, возможно, чуждую им идею! Еще один урок, преподнесенный вам властью, с которой вы боретесь. – Сан Саныч вдруг зло рассмеялся. – И все же определись: те люди, которых вы убили: сообщники власти или герои вашей борьбы?

Ваге вскочил, сжав кулаки:

– Не смей сравнивать наше движение с этим подлым государством! Я ненавижу слово-блюдов, я человек действия, и мои друзья, которые – да, будут расстреляны! – люди действия!

– Сядь, – прервал его Сан Саныч. – Ты-то не торопишься умирать за дело, из-за которого твои героические друзья послали на смерть людей. Спасаясь свою шкуру.

Ваге уронил кулак на стол, сверля Сан Саныча глазами, полными ярости:

– Если бы у меня был шанс на открытый процесс... на котором я мог бы высказать все! Быть обвинителем! А умирать от пули гэбиста бесцельно – я повременю.

Леонид все сидел молча, повесив голову и внимательно изучая пол кухни, где перекатывались клубки пыли и засохшие хлебные крошки. Саквояж стоял у него на коленях, он придерживал его пухлой рукой. Вдруг он спохватился:

– Да, Саша, я ведь привез вам кое-что... не совсем с пустыми руками, – он жалобно улыбнулся и суетливыми движениями достал мятый «Огонек», в который был вложен последний номер «Хроник». Он протянул его Сан Санычу.

Сан Санычу стало совсем тошно от этой парочки визитеров.

– Я ухожу, – сказал он, протягивая Леониду ключи. – Жилье ваше на три дня. Через три дня я возвращаюсь в пустую квартиру. Куда и каким образом вы, бойцы, – он иронично выцедил последнее слово, – перебираетесь – меня не интересует, но вы освобождаете мой дом.

Сан Саныч прошел в комнату, бросил пару рубашек в свой походный рюкзак, потом положил туда же бритву и блок сигарет; уже направившись к двери, вспомнил про любимый магнитофон, привычно водрузил его на плечо и захлопнул за собой дверь.

Вечером он появился на пороге Лериной квартиры. Та охнула, увидев его длинную фигуру в дверях.

– Извини, Вэл, – произнес он (давно уже называл ее английским сокращенным вариантом претенциозного имени – встретил в одном из подпольных музыкальных журналов

и тут же пустил в ход, так подошло короткое прозвище-огрызок его резкой и прямолинейной подруге). – Знаю, я нарушаю наш договор: независимость и так далее... Если бы не неожиданные обстоятельства... я расскажу тебе потом. Короче: пусти, хозяйшюка, временно бездомного на несколько дней? Кстати, ухожу завтра на работу и не вернусь аж до послезавтрашнего вечера – дежурю. Так что сможешь тем временем обдумать, пускать ли нахала обратно...

Лера смотрела на него насмешливо и нежно. Выглянула в коридор Таня с ребенком на руках, смущенно пробормотала «здрасьте» и уже хотела исчезнуть, но Лера остановила ее:

– Танюха, знакомься, Сан Саныч – можно сказать, Давидкин крестный. Он с нами поживет.

Лера вдруг рассмеялась.

– Помните сказку о теремке? Это про меня. Жила я одна, поживала, добра наживала. И тут пришла Таня. А за ней Давид. А за ними Саня. Ну что тут скажешь?

Сан Саныч посмотрел на ребенка, а Давид открыл черные круглые глаза, которые с недавних пор больше не плавали в пространстве, а очень даже глубокомысленно изучали окружающую действительность. Боже, какое счастье, подумал Сан Саныч, что девчонка сбежала, что не позволила мне вырвать это чудо из ее утробы. И Лера подумала: Боже, какое счастье, хоть в течение нескольких дней любимый человек будет рядом – в силу «неожиданных обстоятельств» ей не придется кивать головой в ответ на разговоры о независимости. И Таня, которая знала о Лериных чувствах намного больше, чем та подозревала, тоже подумала: вот и прекрасно, Лера будет счастлива... И Давид, возможно, подумал о чем-то молочно-счастливым...

После вечернего чая Сан Саныч вспомнил о журнале, поспешно сунутом в рюкзак, и решил полистать его, быстро наткнувшись на заметку о деле армянских националистов. Трое заговорщиков, писали, уже предстали перед судом и были быстро и безоговорочно приговорены к расстрелу. Существовал еще и четвертый, которому удалось скрыться и на поиски которого была брошена вся доблестная советская милиция, говорилось в статье, исполненной характерной для «Хроник» злобной иронии. Он учился на химическом факультете Ереванского университета и, по имеющимся данным, являлся создателем бомб, взорванных в московском метро.

Сан Саныч похолодел, мгновенно интуитивно почувствовав, что подозрения следствия верны: Ваге был не просто рядовым членом подпольной организации, а непосредственным творцом теракта. Сан Саныч вдруг поверил в это безоговорочно, представив яростные и одновременно безжалостно холодные глаза незваного гостя, вспомнив его бешеное поведение загнанного зверя, в любую секунду готового на смертельный прыжок. Как отчаянно и бессвязно звучала логика его оправдания убийства... Сан Саныч понял, какой страшной опасности подвергает себя, женщин и ребенка, приютив убийцу и государственного преступника в своей квартире; и никогда и ни при каких обстоятельствах он не сможет доказать, что сделал это против своего желания и, более того, против совести. Он четко сформулировал для себя то, о чем думал несколько месяцев назад, когда впервые слушал по радио сообщение о взрывах: нет такой цели на земле, ради которой он счел бы приемлемым убивать. Тут же он с горечью осознал, что убивает по понедельникам и четвергам, с восьми до двенадцати, регулярно, но эту предательскую мысль спрятал от себя как можно глубже и выбежал из квартиры, по привычке холостяка и одиночки даже не сказавшись Лере, что уходит на ночь глядя. Та только успела выглянуть на лестничную площадку, услышав стук двери, и крикнула ему вдогонку: «Ты куда?!» «Скоро буду», – бросил Сан Саныч, и эхо его голоса гулко пронеслось через лестничные пролеты.

Тем же вечером папаша Сапожников отправился докладывать майору КГБ Кафтану о своих наблюдениях на вокзале. Это был дебют Сапожникова в качестве информатора, и он

был несколько разочарован тем, что практически не добыл полезных сведений. Так сложилось, что, когда несколько месяцев назад Сапожникова замели за растление малолетней и ему угрожала тюрьма – надолго, ему неожиданно предложили сотрудничество с гэбистами. Он очень удивился – почему ему, тихому, незаметному советскому человеку, без всякого шпионского опыта, – но сразу согласился, поскольку антисоветчиков ненавидел еще с пионерского детства. Когда же прояснилось, за кем ему придется следить, он не испытал угрызений совести, а просто удивился еще больше, искренне не понимая, зачем доктору с репутацией заниматься делом, которое пристало разве что хипповой студенческой гольтьбе. Сама работа далась ему легко, поскольку фальшивить и притворяться не пришлось: он рассказывал Сан Санычу елейным голосом чистую правду и про спасенную дочь, и про свою готовность служить ему верой и правдой. И вот теперь он шел докладывать майору Кафтану, что власти, возможно, ошибались, и никакого груза он не видел, хотя смотрел в оба, а встречал доктор на вокзале двух столичных студентов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.